

84 84Р6 (2Р-УКМ)

Л 64

31807499

ISSN 1235—7976

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 4•1991 КУЗБАСС





Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

рландских мальчиков».

эрит» в рамках культур-
джников Джека Гюнте-
в г. Сизтл (США). Ди-
яга Владимир Сергеевич.

84 (2) 7843
Л-64

ХР (СР)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУЗБАСС

№ 4 (114)

Издается с 1949 года

ИЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ПУБЛИЦИСТИКИ

Выходит
ежеквартально

УЧРЕДИТЕЛИ:
КЕМЕРОВСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Редактор:
Владимир **МАЗАЕВ**

Редакционная коллегия:

Виктор **БАЯНОВ**

Сергей **ДОНБАЙ**
(отв. секретарь)

Геннадий **ЕМЕЛЬЯНОВ**

Валерий **ЗУБАРЕВ**

Александр **КАЗАРКИН**,
доктор филологич. наук

Валентин **МАХАЛОВ**

Любовь **НИКОНОВА**

Виль **РУДИН**



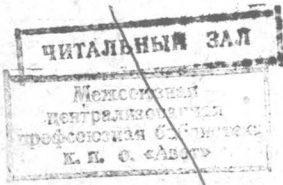
В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Константин Акатнов. Этапный день. Повесть . . .	3
Борис Соколов. Американец и реальный социализм. Счастливые любовники. Тихоокеанский секс. Рассказы	61
Николай Клюев. Сны обреченного. (Вступительная статья А. Казаркина.)	74
Яан Иенсен. Прыжок смерти. Детективный рассказ	91

ПОЭЗИЯ

Новые стихи. Сергей Подгорнов. «Лето теплокожею листовой...» «Я вырос здесь...» «Отпустил бы я душу на волю...» Ворон. Одиночество. Павел Майский. Путешествие из Кузнецка в Екатеринодар в лето 1989 года. «Был майский день...» «Что ж вы, деды, натворили...»	59
Геннадий Кузнецов. Отец	71
Николай Кодмогоров. «Из разного вчера мне ничего не взять...» «Не спится чудачку...» «Тяжелые сдвинулись тучи...» «Не пойте отвращенье к жизни...» В степи. «Даже бедное Черное море...» «Доступное сегодня и сейчас...» «Жизнь — это медленное скуденье...»	87
Владимир Иванов. Визит	89



Кемеровское
книжное
издательство
1991

Адрес редакции:
650099, Кемерово, 99,
проспект Советский, 40,
тел. 26-85-14

Редакция рукописи
не рецензирует,
а только сообщает
о своем решении.

Рукописи объемом
менее двух печатных листов
не возвращаются

Ведущий редактор
Т. И. Махалова
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор С. А. Мазаева

На первой стр. об-
ложки: Даниел Хаггерти
«Поцелуй любовницы».

На четвертой стр.
обложки: Джек Гюн-
тер «Снежный гусь сел на
3-ю взлетную полосу».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил Анохин. Забастовка. Технология надувательства 99

СЛОВО — КРИТИКЕ

Сергей Самойленко. О горькой соли стихов, о поэтиче-
ских мурашках и о многом другом 115

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Владимир Ленин в оценках Николая Бердяева и Мак-
сима Горького 122

ГБУК КеМОНБ им. В.Д.Фёдорова
Основной фонд
3/ 807499

Сдано в набор 03.06.91. Подписано к печати 29.10.91. Формат
70X90^{1/16}. Бумага офсетная № 2. Гарнитура Литературная. Печать
высокая. Усл. печ. л. 9,36. Усл. кр.-отт. 10,53. Уч.-изд. л. 10,44. Ти-
раж 2000 экз. Заказ № 2063. Цена 1 р. Кемеровское книжное изда-
тельство. Кемеровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и ти-
пографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

Л 4702010200—28
М 145(03)—91 91

© Коллектив авторов, 1991

Константин Акатнов

ЭТАПНЫЙ ДЕНЬ

ПОВЕСТЬ

...дьявол лих до меня, а человеки все до меня добры.

Протопоп Аввакум,
«Житие»

Часть первая

«Гражданин Скородумов Валентин Николаевич, 14.08.1958 года рождения, русский, беспартийный, образование среднее, ранее не судимый, и гражданин Федотов Геннадий Петрович, 1960 года рождения, ранее судимый по ст. 218 ч. II УК РСФСР, ожидали в подъезде жилого дома 01 ноября 1976 года своих знакомых Логинову Александру Юрьевну и Королеву Евгению Васильевну.

В одном из почтовых ящиков Федотов обнаружил ключ. Вступив в преступный сговор со Скородумовым, они проникли в квартиру.

На кухне из холодильника Федотов и Скородумов похитили 300 грамм колбасы по цене 2 руб. 20 коп. и полбутылки водки по цене 3 руб. 62 коп. и употребили похищенное в пищу тут же, за столом.

Уходя из квартиры, они похитили из той же кухни электробритву марки «Бердск-2», стоимостью 26 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 144 ч. II УК РСФСР, Народный суд приговорил Федотова Г. П. к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ВТК усиленного режима...

Скородумова В. Н. к 2 годам ли-

шения свободы с отбыванием наказания в ИТК общего режима...

Взыскать с обвиняемых в пользу потерпевших 28 руб. 47 коп., солидарно.»

(Из приговора суда от 30.12.1976 г.)

1

День. А может, ночь? Все равно.

Валентин лежит на нижней шконке и придумывает, что себе наколоть. Мишаня с Наркомом отождли каблук, мутят тушь. Афонька готовит иглы.

Золотой Мальчик, но не потому, что рыжий, а потому, что с девяностотысячным иском, шариковой ручкой дорисовывает широкие лбы двум кочегарам, разместившимся по обе стороны Васькиной ягодицы. Концы своих длинных орудий труда, которые они держат наперевес в мускулистых руках, кочегары направляют в известную точку и, по замыслу заказчика, при ходьбе будут шуровать ее недра.

Золотой откладывает в сторону ручку и берет основной инструмент своего творчества.

— В нашем деле главное контур

набить. За него уже ни один штрих не уйдет,— вслух рассуждает он.

Потом начинает объяснять, больше для себя, что такое перспектива, бесстрастно шпыняя Васькин зад. Он не знает, что еще пятьсот лет назад художник по кличке Уччело написал законы перспективы красками на холсте. Изображенные им с копьями в руках рыцари Флоренции и миланского герцогства, может быть, так никогда и не пробьются в поле зрения Золотого, но он знает, что говорит. Золотой исколол не один погонный метр человеческой кожи, покрывающей и самые демонстративные, и по-христиански далеко запрятанные части мужского тела.

Его тонкие длинные пальцы, с аккуратно подрезанными ногтями, как на пианино играют, быстро натягивая и ослабляя кожу, перебирают то в одном, то в противоположном месте, давая туши подсыхать. Три швейные иголки, туго примотанные друг к дружке ниткой, методично вонзаются в поры, оставляя вечный след.

Валентин встает, ковыляет на толчок, по пути сомлевшей ногой заталкивая под шконки голову обиженно-го.

Лена обычно сутками не показывается из своей катакомбы, но сейчас ему очень хочется посмотреть на рослых неутомимых рабочих, которые даром будут чистить шлак и дышать газами.

Обиженных водят в баню отдельно, а в другое время Васька попридержит шедевр Золотого зачехленным.

Валентин откидывает серое тюремное одеяло, которым занавешен унитаз. Здесь можно укрыться от всякого, в том числе и стеклянного глаза кованой двери. В любое время, кроме того, конечно, в которое едят, хорошо вот так уединиться, подумать, послушать успокаивающий шум воды.

Ну что ж, контур набит. Следствие и суд — пройденные этапы. Впереди — этап в лагеря. А пока камеры для осужденных, отличные от следственных только названием да более оправданным содержанием.

Сразу после суда Валентин попал в сужденку без унитаза, и их водили на оправку в общий туалет. Он лучше всего помнит, как это делала очень молодая коридорная, ради теплого места неизвестно когда (может, такой родилась) привыкшая ко всему.

Та сужденка против нынешних восьми была на тридцать человек, но грязь и теснота туалета после нее ощущались только в первые минуты. Потом, казалось, можно всех без труда затолкнуть в «воронок». Потом в карцер. Потом... в спичечный коробок. Эти вечные детали механизма несвободы, когда-то запатентованные в форме переполненных камер, зловония, духоты, холода, работают все так же исправно, как и тысячи лет назад.

Общевойсковой мундир и малиновые лычки на погонах были к лицу той дородной брюнетке. Не к лицу даже, а к длинному, придавленному пилоткой волосу, черными барашками гулявшему по воротнику гимнастерки.

Валентина всегда смешила ее вальжная невозмутимость, неопрятность косметики, широкий солдатский ремень, на манер бандажа поддерживающий живот. Он попробовал называть ее Толстухой, но никто не поддержал. Очевидно, за ним не водилось того дара, называемого легкой рукой, который встречается и в чьей-нибудь нелегкой судьбе. «Разве она толстая,— возразил Васька,— она — русская.»

Брюнетка, несуетливо позванивая ключами в нужных местах, вела за собой растянувшийся строй. В конце его плелся обоз. Обиженные Тоня и Дуся несли перед собой параша с мочой. Тонино лицо на каждом шагу искажалось, как у пилота в момент пре-

одоления звукового барьера. Согнутый в три погибели, он нередко плескал себе на ботинки. Дуся был так могуч, что четырехведерную емкость нес на вытянутых руках.

Дима еще в следственном изоляторе сменил свое имя и блатной угол на место жительства под шконками. Ему не хватило сил отказаться от карт. Когда он проиграл все свое настоящее и обозримое будущее в виде передачи, отоварки, пайков на месяц вперед, то согласился попробовать одним махом или отыграться, или проиграть последнее. То последнее, что, по представлению тюремных завсегдатаев, отдается не раньше жизни.

Дима проиграл.

Партнер потом вернул ему ежедневный паек, но без сахара.

Толя уже с малолетки поднялся Толей.

Из малолеток мастевых больше всего. Обыкновенно — обиженные. Реже — блатные. Еще реже активисты. Последние стараются остаться в своих ВТК до конца сроков. Закон такие исключения допускает. Но если это не удастся, то на пересылках им зачастую крепко перепадает.

Чаще всего это происходит в отстойнике.

В сложной, но безотказной системе пересылок новички долго остаются в нем с глазу на глаз с временными и постоянными жителями разных краев одного министерства. Временное население этих мест большую часть жизни свободно перемещается по территории других ведомств. Поднимается к небесным сферам торговли, опускается в подземные трассы жилкоммунхоза. Постоянное, наоборот, чувствует себя как дома только в колючих на ощупь границах. Отстойник для таких все равно, что пикник на лоне природы.

Большие и малые академические словари ничего не говорят о тюрем-

ном отстойнике, но, уяснив суть этой реалии из словарной статьи, несложно понять весь ее кодекс.

Отстойник — это одно или несколько просторных помещений, в которых всегда тесно. После его грязного убожества обычные камеры кажутся депутатскими залами. Не в КПЗ и даже не в «столыпине», а только в отстойнике вязкий запах тюрьмы начинает густо облеплять тело. Запах тюрьмы, который, кажется, можно пощупать руками. Скользкий, тухло-жирный запах, не поддающийся даже импортному дезодоранту.

Богатый выбор хищных насекомых — результат богатого выбора для самих насекомых, никогда не испытывающих затруднения в разнообразии человеческой крови.

В отстойник стекаются все очередные этапы, чтобы, внезапно соединившись, отхлынуть в разные стороны: кто в камеры подсудимых или осужденных, кто на лечение, кто в местные, а кто и в дальние лагеря.

Именно сюда вчерашние вольные привозят все недуги Венеры, за сотни лет скопившиеся в ее плоти.

Именно здесь белая горячка настигает тех, кто годами валялся у пивных. Они однажды проснулись в камере своей родной милиции и, еще сомневаясь, что смогли убить, а тем более изнасиловать, налегли на сытную пищу районных КПЗ. Они еще не успели насладиться радостью сытой трезвой жизни, как очередной этап равнодушно втолкнул их в отстойник. Резко протившись с вином, здесь они нередко встречаются с чертями и часами гоняются друг за другом. Прикинуться умалишенным — «закосить под дурачка» — дело обычное, и на них никто не обращает внимания, когда особенно не докучают.

Стало быть, все эти болезни можно обойти, памятуя о них как о расплате. И только потом, спустя много вре-

мени, удивятся своему везению те, в кого отстойник почему-то не вдохнул туберкулеза.

Если бы не было отстойника, беспредел остальных камер долго бы оставался ненаказанным. Беспричинные унижения, когда чье-то лицо просто не нравится, изнасилования, когда, наоборот, нравится,— словом, все то, что называется беспределом, в отстойнике всплывает наружу.

Если бы не было отстойника, где бы перебивались те арестанты, которых вследствие их лагерных характеристик ни одна тюрьма не хочет принимать?

Если бы не было отстойника, никогда бы иной робкий юноша, еще икающий домашними пирожками, не попался бы в циничные сети искушенных сограждан и некоторые постыдные развлечения древних так бы и остались для него только отвратительным фактом античности.

Подзовет его, одинокого и беспомощного, какой-нибудь неумытый скиталец кивком головы или, хуже того, пальчиком поманит в свой угол и заведет двусмысленные расспросы о доме, матери, невесте. И даст почувствовать, что это не просто светская беседа бывалого с необстрелянным, а своеобразный коллоквиум здешних мест. И вгонит в краску, и залучит этого мальчика — с искусством самого Софокла. И будут рукоплескать его победе блатные друзья, как Ион Хиосский рукоплескал создателю трагедий. Но тюрьма не парусник, плывущий в Лесбос, она сразу бросит юношу в свои невольничьи тюрьмы.

Если бы не было отстойника, его срочно надо было бы пристраивать, чтобы никто даже на минуту не забывал, где он находится...

Валентин тянет за капроновую гирьку на коротенькой леске. Под ногами проносится шумный водоворот. Поплавок бачка открывает систему, и ввер-

ху снова звучит бытовая мелодия воды.

В хате все увлечены интересным занятием, и никому нет дела, сколько он здесь проторчит.

Теперь, когда пришел отказ на кассационную жалобу из областного суда, «надежды нет и децалы», как говорит Юра Гоп-Стоп. Не в Верховный же суд, в самом деле, жаловаться. Чего доброго, еще больше припают. Эпизод с колбасой и водкой судьи расценили как «крайний цинизм молодых подонков».

За спиной больше трех месяцев камер и пересылок, но первый отстойник не забывается.

Каждая тюрьма живет преданиями. Знакомить с ними новичков она начинает с самых дальних подступов. И чем ближе, тем страшней и фантастичней вырисовываются контуры домзак.

В душном, сплошь закрытом вагоне «столыпина» Валентин услышал рассказ о том, как молодежь в 1962 году пыталась подбить взбунтовавшийся народ развалить ту тюрьму, в которую его везли. Как весной пятьдесят третьего она пустовала целый день. Надзиратели боязливо ступали по гулким коридорам многочисленных корпусов, по привычке заглядывали в пустые камеры и с ужасом отшатывались назад. К вечеру того же дня пришел очередной этап, и все забылось ими, как дурной сон.

Не по-южному морозный ноябрь встретил этапированных стылым асфальтом тюремного двора. Неторопливо разминаясь, шли по нему в сапогах и ботинках. Чрезмерно топая, спотыкаясь и сбиваясь в кучу,— в кедах, сандалиях и даже в тапочках. Один из сопровождающих офицеров с кипой «дел» в обеих руках оглянулся, презрительно бросил:

— Где вас таких поналовили.

— Да все там же, где другие не

ловятся,—ответили из толпы так же затверженно и не менее презрительно.

Валентин обратил внимание на авторский плакат подневольного художника. Сухонькая седая старушка в черном платке, напоминавшая лихолетье немецкой оккупации, устремляла взгляд с фанерного щита прямо навстречу колонне. Она словно кого-то высматривала в ней.

Изображение самого святого, чего даже в наиболее необузданных ругательствах не касается ни один заключенный, видно, по замыслу заказчиков, должно было иметь наилучшее воспитательное значение.

Внизу плаката большими белыми буквами: «Вернись домой, сынок!» А в скобках: «дочка».

Напотев духотой «столыпина» и замерзнув в «воронках», колонна в каляных одеждах вошла в тюремный коридор. Их развели по трем огромным камерам на первом этаже, которые все вместе и каждая в отдельности назывались отстойником.

Во время последней войны немцы занимали эти помещения под конюшни. После того как лошади унесли своих новых хозяев подальше из чужих степей, старые хозяева конюшен организовали в них сортировку этапов и тем самым избежали новых реконструкций старинного здания. Но сама тюрьма пристроек не чуралась. Возведенная еще при Екатерине II, по тогдашнему обычаю в виде буквы Е, она простояла в первозданном виде больше полутора веков. Потом такие гребешки, там и сям разбросанные по русской земле, сочили не очень густыми. Нет, не способны они были вычесать всех паразитов нового государства. В короткий срок буква русского алфавита сделалась граблями. Затем эти грабли превратились в беспорядочные гигантские шупальцы, протянувшиеся во все концы.

Камера, в которой оказался Вален-

тин, была не меньше зала ожидания его родной станции и, как тот же зал, гудела множеством народа. Сходство виделось еще и в том, что все вошли сюда с поезда. Кто налегке, кто с сумкой, а кто и с чемоданом.

Кроме двух десятков пляжных топчанов, которых не хватило и на треть заключенных, другого движимого имущества не было. Вошедшие первыми торопливо расхватили эти предметы капуанской роскоши. Потом некоторым из них сынки идейных отцов доходчиво объяснили, что сибаритствовать имеют право только избранные и выбор незатейлив. Или—или. Или спать на полу, как простые смертные, или положить у параша.

Параша в таких претензиях всем понятная доморощенная аллегория.

У стены, по одну сторону двери, торчал водопровод. По другую белым фаянсом широко улыбался унитаз в бетонном обрамлении.

Никаких других атрибутов не имелось.

Под ногами разнотонная грязь на каменном основании. Стены под шубу, местами в копоты. Понятно: одичавших насекомых, которые в этом бедламе отбились от рук, точнее от мягких душистых подмышек, из дебрей цементных завитушек добывают огнем.

Под потолком толстые решетки на щелевидных окнах.

Собственно, ничего другого Валентин увидеть и не ожидал. Примерно все так, как читал в книгах или видел в кино. Он даже внимательно осмотрел стены, рассчитывая обнаружить следы от мощных колец для цепей или дыбы.

Между тем, пока он осваивался, в ближнем к нему углу бесповоротно назрела драка. Самодельные карты валялись на полу, и вокруг спорящих увеличивался островок свободного пространства.

Рядом с толчком блатная молодежь терзала обиженного. У него были оттопыренные уши и толстые складки от спины до стриженного затылка. Когда бы хоть один хряк сумел задрать вверх голову, она бы собралась в такие же складки.

Доли секунды хватило Валентину, чтобы понять происходящее. Он только скользнул взглядом по омерзительному действию, но оно навсегда вьелось в мысли. Зрелище настолько дикое и будоражащее, что оно не может не являться в памяти всю последующую жизнь. Не дай бог ему когда-нибудь стать последним предсмертным проблеском затухающего сознания.

Невольное свидетельство содомского греха вызвало в душе Валентина непрекращающееся землетрясение. Он почувствовал, что если сейчас обернется, то сразу окаменеет, как окаменела жена племянника библейского патриарха, посмотревшая на разор педерастического города.

Рядом с Валентином спокойно ели сало. Так спокойно, что это не могло не беспокоить. Шестеро немолодых, но крепких своей уверенностью мужчин, одетых в руби, не озирались, не бросали торопливых взглядов по сторонам, но и не были напряженно сосредоточены на своем занятии. Они просто сидели серым тесным кружком и закусывали, как это делают на берегу реки или в электричке.

В дальнем углу на умело свернутой майке заваривали чай. Один вращал горящий факел вокруг оси, беспрестанно отщипывая с него нагар, тем самым не давая появляться дыму, другой держал кружку.

Какой-то худенький анемичный паренек с рондольевыми зубами ловко балансировал на двух топчанах, как на ходулях, и тихонько щелкал пяти-сотваттную лампу то одним, то другим пальцем. От яркого света он опу-

стил веки, и Валентин увидел синюю на них татуировку. Наколоты были буквы, но какие именно, непонятно. Валентин поостерегся долго смотреть в глаза незнакомого человека; такое и на воле канает за признак дурного тона.

А где-то в гуще этого сборища безудержно храпели, хохотали, громко выкрикивали тюремные поговорки.

Часа через полтора, когда про лампочку все забыли, она вдруг погасла. Но в отстойнике еще долго гомонили, устраиваясь кто как может. Сквозь узкие длинные окна проникало немного света от прожекторов тюремного двора. Так и не подравшиеся картежники распили мировую замутку чая. Четверо акселератов наконец-то оставили в покое обиженного.

Они дали ему напоследок звонкого пинка и положили рядом с унитазом, на его законное место и еды, и досуга, и ночлега.

Через это препятствие надо было переступать дважды, что в темноте не всегда удавалось, и обиженного все время пинали, а то и вовсе не переступали.

Теперь-то Валентин знает, что многие не переступали бы даже не в темноте.

Неожиданно, как ляда в погреб, открылась дверь. Широкая полоса света из коридора достигла середины помещения и, как в стену, уперлась в дымную темноту.

Вошел вислоусый пожилой коридорный и с ним два заключенных, работающих при тюрьме.

Заключенные раздвинули стремянку, сменили лампочку. Коридорный обстучал деревянным молотком (такой молоток из железа назывался бы кувалдой) стены и решетки, грузно взбираясь не выше третьей ступеньки. Перед дверью он дурашливо погрозил во все стороны молотком-кианкой и вышел вслед за хозобслугой.

Как только закрылась дверь, один из картежников, сутулый, длиннбудый, громко сказал в нос:

— Эй, давай все сюда! Я крысу надбал... Поднимайся, землячок,— дернул он за рукав бледного с татуированными веками (остальные загаром похвастаться тоже не могли, хоть бархатный сезон только-только прошел, но этот был особенно бледен).— У тебя в сидоре ничего лишнего не притарено?

— Нет,— сказал тот спросонья хриплым голосом.

Тускло блеснули зубы из технического золота.

— Я — отвечаю!

Он сразу, за долю секунды, постарел, а точнее, прожил столько лет, на сколько ошибся Валентин. Едва заметные морщины проступили в один миг и все сразу. На лбу, как на метеорологической карте, обрисовалась корявая роза ветров местного продувного климата.

— А ну-ка дай свой сидорок.

Длиннбудый развязал протянутый ему вещмешок и высыпал его содержимое к себе на топчан. Поверх пайка хлеба лег миткаль исподников, несколько пачек сигарет, портянки и прочие ценности, вроде носового платка или катушки ниток.

— Здесь все твое?

— Нет,— растерялся бледный,— хлеб не мой.

Он сказал именно «хлеб», а не пофене: пайка там или мандро.

— Да как же он сюда заскочил?

— Не знаю... Я на толчок ходил.

— Я тоже ходил! Это моя пайка,— длиннбудый поспешно схватил полкирпича пережженного хлеба.— Значит, я ее подсунул?

Эта поспешность показалась Валентину наигранной, неправдоподобной.

Фальшь почувствовал не только Валентин. Второй картежник не спеша, с достоинством протискивался сквозь

толпу. Он не потерял своего достоинства, не потерял время. Нервно жестикулируя перед лицом бледного твердокаменным куском, словно беспрерывно взвешивая его на ладони, длиннбудый прошипел прямошеим гусаком:

— А зачем ты лампочку загасил, падло?

Бледный хотел что-то ответить, а может, приоткрыл рот от неожиданного вопроса, и сухарь со всего размаха вломился в эту щель.

Золотыми брызгами полетели во все стороны фиксы.

Бледный отшатнулся. Выпрямиться ему уже не дали. Защита от побоев, испытанная в подобных местах сорок лет назад, не смогла его спасти от опыта последующих десятилетий. Колени, закрывающие лицо, локти, оберегающие бока, ладони поверх висков, может быть, и устояли против каблучков и топчанов, но для коллектива нет ничего невозможного. Молодые блатари, в коих дурная кровь после упражнений с обиженным еще продолжала подстрекать дикие мысли, два раза швырнули его об пол.

На второй раз он вместо леденящего крика вверх и сдавленного — на полу, только шумно выдохнул.

В начале скандала Валентин торопливо отошел к дальней стене. Но и оттуда он видел, как приподнимают живого-убитого и слышал его короткий вздох. В нем не было никакого намека на голос. Наверное, это воздух при ударе вышел из легких.

Какой-то плотный парень среднего роста протянул незаметно руку к выключателю у двери. Валентин понял, что в коридоре зажглась сигнальная лампочка.

— Земляк,— окликнул его один из тех, что варили чай на майке.— Там что случилось?

— Кры-су-лу-у-пят!

Валентин хотел ответить побезраз-

личней, но вышло плаксиво. Спрашивающий снова преклонил голову на свой вещмешок. Видно, спросонок он уловил в голосе Валентина веселье.

Холодная вода уже не возвращала жертве сознание.

Его за ноги оттащили к санузлу.

Он лежал там неподвижно, и только живот в лохмотьях изодранной одежды екал под ребра и медленно возвращался обратно...

Рано утром вошел все тот же надзиратель. Щелкнул выключателем. Обвел глазами потолок, стены. Увидел избитого.

— А это шо тут такое? — указал на него киянкой.

— Крыса, командир, крыса...

Надзиратель нахмурился. Рыжие усы пошевелил озабоченный вздох. Он велел Валентину и тому пареньку, который ночью подкрался к выключателю, вынести избитого в коридор.

Паренек лет двадцати, очевидно, как и Валентин, был к нему приманичен единственным вопросом: жив или нет? и не мог отойти далеко, хотя находиться всю ночь рядом было тоже нелегко.

Валентин подсунул руки избитому под плечи. Он поднял их, когда паренек только начал приподнимать тому ноги, и почувствовал, как тяжелый ком внутри избитого покатился из его рук.

— И вы молотили? — спросил надзиратель в коридоре.

— Не-е-е-т, — как в нервном тике, задержали они головами.

— Молодые. Озорства от преступления не отличаете. Вы под следствием или осужденные?

— Под следствием, — ответил Валентин.

— У меня пять лет по двести одиннадцатой, — возразил паренек...

Помолчав, добавил, горько улыбаясь:

— Мать на свидании сказала, что в тюрьме целей буду.

Валентин присел на корточки и на века избитого прочитал вполголоса:

— «Не буди»...

Все утро в отстойнике говорили только о том, что крысы самые живучие твари. Сидя кто на топчанах, а кто и на полу с мисками между колен, вспоминали десятки случаев каждый из своей практики по их отлову.

Валентин свой завтрак отдал Паше — так звали этого паренька-аварийщика. Он попробовал проглотить ложку тюремной каши, но крупитчатые сгустки телом избитого катались во рту.

Паша кончил три курса филологического факультета. Жаркой летней ночью он перевернулся на отцовском «жигуленке» вдвоем с подружкой. Сам только палец порезал о разбившуюся бутылку, а она выпала из машины и угодила под нее же.

Паша, быстро справляясь с отвратительным варевом, картаво сказал:

— Rat.

Валентину послышалось: гад.

— Чего? — переспросил он.

— Я говорю: крыса. По-французски. У них это слово в простонародье обозначает еще и воров.

— Крыса и вор — не одно и то же. Крыса тащит у своих.

— Видимо, так, — согласился Паша.

Он помолчал, потом повторил ту расхожую фразу, которую Валентин слышал на этапе уже три или четыре раза:

— В свое время еще Ленин говорил, что преступный мир сам себя изживает. Вот мы себя и изживаем.

— Ленин здесь ни при чем, — возразил Валентин. — Дарвин сюда больше подойдет.

— И Дарвин, — сказал Паша, — и, видимо, Фрейд. Да и кроме них еще многие.

Валентин не знал, кто такой Фрейд, но спрашивать не стал. Если подойдут многие, то не имело смысла.

Ему нравился этот крепыш с глубокой морщиной между темных бровей. Его ровную круглую голову покрывал короткий белый волос, такой густой, что под ним едва угадывалась розовая кожа. В своем университете он, наверное, носил волосы до плеч. Сокурсники называли его скорее всего белобрысым, а сокурсницы — чернобровым. Этой морщины на переносице у него наверняка тогда еще не было. Такое появляется после бессонных ночей не наедине с мыслями классиков, а со своими собственными.

Валентин не успел с Пашей толком поговорить. Сразу после завтрака их вывели в коридор. Долго проверяли поименно и постатейно. Затем повели на шмон.

Валентин достался моложавой женщине с ямкой на подбородке, которая так красит мужское лицо, но так уродует женское.

Она быстро перетряхнула его сидор, потыкала пальцем в сало и приказала положить на стол одежду. Ощупав ее подозрительно и делово, как торговка на базаре, зашла за сплошную деревянную перегородку, доходившую Валентину до груди. Оттуда потребовала его трусы и тщательно обследовала каждый шов.

Сапожник, сидевший в смежной комнате, клиновидным ножом разорил его ботинки изнутри, извлек стальные пластинки — супинаторы, о наличии которых Валентин никогда не подозревал.

После рентгена, медосмотра и прочих утомительных процедур Валентин получил постельные и столовые принадлежности. Он настойчиво, несмотря на усталость, попросил заменить ему алюминиевую ложку с перекрученной ручкой, которую назвал веслом,

на нормальную, и старый зек-раздатчик это сделал.

Корпусной передал подследственных коридорному, и тот стал разводить их по камерам.

Из многих доносились громкие крики. Конечно же, это был смех, но Валентину, потрясенному ночью, слышалось в них другое.

Коридорный подвел его одного к двери. Открыл ее громадным ключом.

Сердце Валентина металось по клетке груди.

2

Валентин еще раз дергает за капроновую гирьку, прикуривает сигарету, прячет ее в кулак и выходит в камеру. Увидев, что все заняты татуировкой, украдкой бросает прикурор под шконки.

В хате последнее время трудно с куревом. Лена то и дело кропотливо исследует на своей ладони окурки на предмет селекции. В их золе иногда не остается ни одной пригодной табачинки. Теперь никто не курит один. Сам-на-сам. Когда сигарета укорачивается так, что жжет губы, ее заворачивают в бумажку и выкуривают без остатка.

Валентин недавно выбросил окурор не больше стриженного ногтя, и Юра Гоп-Стоп попенял ему, что он устроил петушиный праздник.

Если в хате становится туго с табакор, первыми от этого страдают обиженные. Они могут находиться только под шконками, у двери или на толчке. Раз и навсегда установленная демаркация меняется только на время уборки.

В лице обиженного хата имеет бесшумного подметальщика, а также безотказного прачку, швею, чистильщика обуви. Если ему во всех этих ипостасях не перепадает ни пинок, ни

оплеуха, то труд остается неоплаченным.

Когда Валентина перевели в эту камеру под номером 119, а по-зековски в хату один-девять, сантехники с работки заканчивали здесь установку унитаза и водопровода. Благодаря этим удобствам почтовые операции между соседями стали еще удачней.

Валентин ложится на свое место.

Нет, он ничего себе не наколет. Все его мысли пока что не стали единственным условным рефлексом, который он решил здесь вырабатывать для будущей отсидки в зоне. Давным-давно, интуитивно, еще в отстойнике, Валентин поклялся, что будет жить, ни во что не вмешиваясь. Нанести татуировку, например, воровские звезды на плечах (там, где им и положено быть), нетрудно, но за это могут закрыть в карцер и в «личном деле» будет отмечено нарушение, которое отодвинет надежду на досрочное освобождение. Условные рефлексы безошибочны. Они тем и хороши, что не дают повода к сомнению. Тебя не касается, так и помалкивай. Меньше будешь иметь врагов.

Тот, с наколкой на веках, днем и ночью лежит перед глазами. Даже мысленно невозможно прикоснуться к его дряблему, будто битком набитому опарышами, телу. Наверное, он жив, иначе бы вызвали к куму. Чужое убийство тюрьма списывать не станет. А может, вызывали других? Кто же захочет допрашивать столько свидетелей.

Везде и всюду Валентин пристально всматривался в однообразные лица обиженных, но сквозь грязь склоненных лбов пока не увидел розы ветров.

Валентин встречал некоторые запомнившиеся тогда лица и, если имелась возможность завязать разговор, как бы нечаянно заговаривал о том случае. В ответ он ловил только беспо-

койство в глазах и жестах. Люди здесь каждое слово принимают за капкан. Они не пытаются ходить вокруг этих капканов, принимают, присматриваться к маскировке, а сразу уходят в сторону. Они давно живут так, к чему Валентин только готовится.

Из тех, что в его памяти на положении приходящих, Валентин чаще других впускает Пашу. Он еще до знакомства с ним, ночью возле избитого, почувствовал, что мир они воспринимают сходно.

Валентин размышляет, глядя на Ваську.

— Так, — отвлекает его Золотой, на минуту расправляя спину над своей работой. — Только бы котел не взорвался.

Васька лежит, подперев кулаками мясистые щеки, заехавшие на глаза.

Валентина осеняет. Он вдруг понял, что такое перспектива. Васькина голова, стриженная под нуль, и особенно небритые щеки, такие, словно поперек рта лежит пудовая гантеля, кажутся Валентину проекцией на частную котельную.

Покуривший Лена опять представляет свою чумазую физиономию. Не найдя под рукой ничего поувесистей, Васька запускает в обиженного ботинок, каблук от которого пережгли на тушь. Он поостерегся метнуть свой снаряд повыше — не дай бог упадет на нижние привилегированные места, — и ботинок стучается об пол, не достигнув цели. Обиженный мгновенно исчезает в темноту своего жилища и больше не показывается.

Валентин разворачивает газету, прихваченную со стола.

В этом году юбилей. Шестьдесят лет революции. По тюрьме ходит «параша», что в ноябре ожидается большая амнистия. Бывалые посмеиваются. Часто повторяют слова, которые якобы сказал неизвестно когда и по какому поводу сам Брежнев: мы никог-

да не допустим повторения ошибки пятьдесят третьего года.

Газета областная. Спецвыпуск. Пять страниц едва светлеют редкими абзацами речи секретаря обкома. Через равные промежутки выделяются жирные строчки, обозначающие места рукоплесканий. На шестой вместились все остальные новости дня.

Валентину вспоминается, как в десятом он был ответственным за проведение политической информации. Единственная общественная нагрузка, которая ему нравилась.

Он в течение недели делал вырезки из газет и в назначенный час пересказывал их содержание всему классу.

В тот год школа почему-то позже обыкновенного начала готовиться к ноябрьским праздникам. Директор, который должен был провести у них политинформацию перед самым седьмым, запаздывал. Валентин развернул тогда такой же спецвыпуск, но центральной газеты, и стал читать вслух речь Генерального секретаря. Класс монотонно гудел; каждый занимался своими делами.

Валентин дочитал до жирных строк и воскликнул:

— Аплодисменты!

Его несколько жидких хлопков в общем шуме остались без внимания.

Он дочитал до следующего абзаца:

— Продолжительные аплодисменты!

Некоторые похлопали в ладоши.

— Товарищи, продолжительные аплодисменты! — повторил Валентин.

Их поддержало еще трое-четверо.

Валентин читал все громче и быстрее, намеренно искажая интонацию и ударение.

Игра захватила всех.

— Бурные аплодисменты!.. Бурные, продолжительные аплодисменты!.. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию! В овацию, товарищи, в овацию...

Именно эти овации заставили Анатолия Ивановича поторопиться.

Класс мгновенно смолк. Тихо расселись по местам. Валентин растерялся. Он и сам не заметил, как благое намерение переросло в нелепость.

— Да-а-а... — тоже растерянно сказал директор. — От кого, от кого, а от Скородумова я этого ну никак не ожидал. И это после того, как его сочинение школа отослала на всесоюзный конкурс.

В начале учебного года все писали сочинение на обязательную тему «С коммунистов берем пример». Валентин написал о чистой любви и верности Корчагина, Телегина, Давыдова. Сочинение всем понравилось. Оно было в рифму. Отдельные выдержки поместили в школьную стенгазету.

Валентин с детства чувствовал в себе способность к зарифмовке слов и даже строчек. Его мать, учительница русского языка и литературы, не придавала этому особого значения. Она старалась сыну ничего не навязывать. Даже преподавала в другой школе. Но когда Валентина словно пронзило и он написал сочинение с первыми строками: «отказавшись от бреда химер, с коммунистов берем пример», мать помогла ему выдержать размер, почистить текст и втайне надеялась, что теперь рифмовать он будет по крайней мере не хуже. Но Валентина больше не пронзало.

Директор не сказал общепринятых слов, какие в подобных случаях говорят все учителя, что-то вроде «я не хочу, чтобы меня из-за вас привлекали» или «я за вас сидеть не собираюсь». Он был для этого слишком стар и нездоров. Но он сказал другое. И это другое, ранее за ним, фронтовиком, незнаемое и им самим до этой минуты почему-то скрываемое, всех поразило.

— Я не позволю вам подобные выходы. Вы поняли? Не по-з-во-лю! Я

не для того на фронте кровь проливал. Не для того потерял в концлагере двадцать зубов и четыре ребра... Не для того меня вынесли из тифозного барака с двадцатью шестью килограммами в двадцатилетнем организме, чтобы вы так легко и просто потешались над самым святым. Над нашей партией и ее вождем.

В классе, даже по слухам, никто не знал, что их директор — бывший узник фашистского концлагеря. Да и кто бы мог подумать, что пятидесяти-семилетний Анатолий Иванович, грузный, седой, но густоволосый, столько пережил. В семнадцать лет никто не заглядывает в рот своему собеседнику, чтобы рассмотреть, протезные или свои зубы у говорящего.

Все стали извиняться. Оправдываться. Но директор отказался рассказывать о том, что, как видно, до сих пор не отболело. Он отменил политинформацию и, не задерживаясь, ушел из класса.

Валентин еще долго бы переживал происшедшее, пытаясь понять, почему Анатолий Иванович скрывал свое пленение, но под Новый год, а потом в конце зимы случилось то, что поглотило все его время и мысли.

У них в классе училась ничем не приметная серая троечница Лариса Золотарева. Тихо картавая, с узенькими резинками, нарезанными из старой велосипедной камеры, которые туго перетягивали два хвостика жестких секущихся волос. И вот эта Лариса сделала ему такой подарок, после которого он сам съехал чуть ли не на тройки. Одну он так и не исправил, и она теперь нахально показывает свой голый зад четверкам и пятеркам аттестата...

Валентин достает из-под подушки газету. Так и есть. Двадцать третье февраля. Сегодня годовщина того случая. Недаром вспомнился. Сейчас он кажется смешным, но тогда...

С утра, а это, кажется, был понедельник, их поздравила классная. Девочки вручили сувениры. Изящные пластмассовые броневишки или ракетные установки. Теперь уже и не вспомнить. Затем Сталина Владимировна достала из своей сумки книгу, перевязанную лентой. Кажется, лента была красная. Конечно, какая же еще.

— А этот подарок меня попросила вручить Золотарева Вале Скородумову.

Валентин покраснел не хуже той ленты.

Сталина Владимировна вытащила из-под ленты открытку и прочла вслух:

— Валя! Сердечно поздравляю тебя с днем Советской Армии. Желаю тебе успехов в учебе и счастья в личной жизни. Твоя одноклассница Золотарева Лариса.

Последние слова добились Валентина уже в коридоре. Он так стремительно выскочил за дверь, что классная по инерции дочитала до конца.

Ему хотелось вернуться. Накричать. Может, даже ударить.

Как же он после такого появится в школе? Что теперь делать? Дружить с ней по вечерам? Но ведь ее выходка все равно что раздевание, да еще при сорока свидетелях. На, бери меня. Пусть все знают. «Сердечно поздравляю...» Да, ему нравится Салилова. Об этом в классе многие догадываются. Может, и Золотарева. Но теперь все кончено. Лариска своим подарком как бы заявила на него свои права во всеуслышание.

«Это должно было случиться. Что-то такое обязательно произошло бы,— повторял Валентин по дороге домой.— Ренессанс. Новый год. Теперь вот Золотарева».

За две недели до Нового года он ездил в город к отцу. Тетя Вера, его вторая жена, дала Валентину незаметно от отца десять рублей.

Деньги были кстати. На Новый год они планировали с друзьями устроить пирушку. Салилова тоже согласилась принять в ней участие, и он был несказанно рад свалившимся на него деньгам.

Валентин решил ничего не говорить своей Петровне — так он называл мать и в глаза, и за глаза, и в мыслях. Даже не решал ничего. Так, промелькнуло в голове, и все. Он никогда не рассказывал ей о своих делах.

Поиграв с двенадцатилетней сводной сестренкой, Валентин вернулся домой еще засветло. Достал из той части шкафа, в которую ни Петровна, ни тем более он не заглядывали, первую попавшуюся книгу. Открыл примерно посередине, чтобы спрятать деньги, и вдруг обомлел.

Минут десять он рассматривал иллюстрацию, потом стал читать на соседней странице.

На картинке была изображена ночная комната. В ее дальней темной стороне лежал в постели мужчина. Молодая красивая женщина стояла у светлого оконного проема в задранной ночной рубашке и выставляла наружу свою прекрасную попку. Из темноты улицы тянулся губами другой мужчина.

У Валентина был тот возраст, когда большим событием становится нечаянная возможность увидеть обнаженную женщину, даже нарисованную.

Мать пришла, когда уже смеркалось. То ли из гостей, то ли с собрания. Увидела в руках у сына толстую книгу в красном переплете.

— Ты гляди-ка, до Всемирной литературы добрался, — сказала она, снимая свою неизменную алую беретку из настоящего бархата. — Давно пора. И мой тебе совет: начни с Нестора. С русских летописей.

— Петровна, — сказал Валентин,

листая фолиант, — а Джеффри Чосёр, он кто такой?

— А-а-а, Кентерберийские рассказы. Джеффри Чосёр, — поправила она ударение. — Величайший писатель эпохи Возрождения.

— Да какой же величайший? Ты послушай, что он пишет.

— А что слушать, я и так помню. Еще с университета.

Мать прошла в комнату, присела рядом на диван.

— Разве такое в университетах изучают?

— Конечно. Ренессанс. Время раскрепощения нравов. Борьба с аскетизмом. Литература телесного низа.

Она бы еще долго объясняла сыну то, о чем он не имел ни малейшего понятия.

— Хорошо, Петровна. Все это ясно. Но где же тут величие? Ведь одни зарифмованные анекдоты. Она, как ее, Алисон, резвится с любовником, а другой выпрашивает поцелуй под окошком. Она согласна, но целовальник...

— Поцеловавший, — поморщилась мать.

— ...понял, что она подставила ему не те щеки. Бежит к кузнецу, берет раскаленную железку и просит еще один поцелуй. Прощальный. На этот раз в окошко выставляется ее любовник...

— Я неплохо помню содержание этого рассказа мельника, — перебила Валентина мать. — Мы всем факультетом смеялись над тем, как Абсолон прижег горячим сошником задницу Николаса.

— Прижег. А что до этого было?! — волнуясь, воскликнул Валентин.

— А что было?

— Вот то-то и оно. Ты послушай, послушай, — Валентин придавливал пальцем заранее выбранные строки, как будто боялся, что они упорхнут.

И выпустил из заднего прохода
руладу исключительного рода.

— Ничего тебе не ясно, — сказала мать. — Ты хочешь из социализма попасть в средние века и поучить писателей. Они тебя не поймут, как не понял ты их. Уж коль скоро взялся за такие серьезные произведения, то начни даже не с «Повести временных лет», а с Гомера, — она указала на нужный том. — И не отступай. А что не поймешь, спрашивай.

Мать разогрела ужин. Сама есть не стала. Верно, все-таки из гостей. Почти равнодушно поспрашивала об отце и ушла за свой письменный стол.

Валентин погалопировал вилкой в сковородке с дважды поджаренной картошкой, выпил ненавистное молоко с тем необязательным хлюпаньем, без которого разве только с арбузом, даже тайком, невозможно расправиться, подошел к книжным полкам, занимавшим всю глухую стену большой комнаты. Достал том Гомера. Полистал.

Нет, не то. Здесь каждое слово надо объяснять.

Взял с дивана Чосера и ушел в спальню.

Мать подняла голову от тетрадей, усмехнулась вслед.

— Петровна, — крикнул он из своей комнаты, — а Чосер был один такой писатель?

— Разумеется, нет, — неохотно отозвалась мать. — Чосер, Боккаччо, Рабле — это вершины. Они не могли возникнуть среди пустыни.

С этого дня Валентин уже не мог думать ни о директоре, ни о чем другом. Внешне он почти не изменился. Продолжал хорошо учиться. Но сила инерции вскоре иссякла.

На Новый год Валентин остался дома. Он чувствовал, что с Салиловой теперь не объясниться. Да, она первая красавица в классе. Может, даже

в школе. А то и в поселке. Возможно, он тоже ей нравится. Он не глуп, не урод. За прошлое лето вытянулся, даже в военкомате удивились. Думали, медкомиссия позапрошлой осенью, когда выдавали приписное свидетельство, неправильно записала его рост. Волосы не выгорели, а, наоборот, из темно-русых стали каштановыми. Он теперь гораздо больше походил на отца, чем на мать.

Валентин был поздним ребенком. Мать родила его в тридцать один год, когда между ней и отцом порядком штормило. Отец с юных лет бредил морфлотом. Носил тельняшку и бляху с якорем. Валентин тоже мечтал служить на корабле. Ему грезилось, что оттуда он вернется сильным, всеми уважаемым человеком.

Но теперь все неважно. Ну объяснится он с Салиловой, а дальше-то что? Свадьба? Дети? А дальше? Рулады исключительного рода. Как же все глупо и пошло вокруг! С Николаса берем пример. Неплохая тема для школьного сочинения.

Его невеселое настроение всем бросилось в глаза. Физик из Петровниной школы придвинул ему рюмку с шампанским, но Петровна, продолжая напевать о снеге и ветре, и звезд ночном полете, отставила ее на середину стола. Ей вообще-то было все равно, где он встречает Новый год. Валентин не подал еще ни одного серьезного повода для беспокойства. А больше всего она боялась людской молвы и выволочек на партсобраниях.

Когда все ушли кататься во двор на горку, Валентин налил полный фужер красного вина. С опаской пригубил. Сладко и приятно. Быстро выпил до дна и бросился было закусывать, но понял, что можно и не то ропиться. Посидел. Налил еще. Теперь выпил помедленнее. Пустую бутылку поставил к другим под стол. Подумал: не полистать ли «Декаме-

рон» на сон грядущий. Нет, он знает его почти наизусть. Разделся и лег.

Проснулся он среди ночи. На душе было легко и весело. Захотелось в туалет. Рассохшиеся доски поскрипывали под босыми ногами, но он их не чувствовал.

Сколько сосед обещает Петровне, что рассверлит пазы и забьет клинья, как сделал в своей квартире, да по сей день так и не собрался. И дом вроде бы еще новый, а половицы уже поют.

Керамика ванной комнаты приятно холодила ступни. Валентин стал на четвереньки, приложился лбом к прохладным плиткам.

«Черт задери, да я же пьян!»

Опять заскрипели полы. На этот раз сильнее.

«Ага, Петровны, кажется, еще нет».

Через окно спальни, выходящее во двор, слышался смех, веселье.

— И снег, и ветер... — запел Валентин, включая свет.

Точно, никого... Так, брюки, рубашка, носки, туфли на платформе, хотя с теперешним ростом они, пожалуй, не к лицу. Шарф, куртка. Шапку не обязательно.

Во дворе шумная толпа съезжала с деревянной горки на качелях, напоминающих пресс-папье. Молодежи не было. Петровна его заметила. Подошла. Дыхание прерывистое. Пальто нараспашку. И, как всегда, в своей беретке, которую Валентин прозвал революционной.

Петровна купила ее в тот год, когда кино «Свадьба в Малиновке» показали в первый раз. В нем адъютант главаря банды говорил, что один пулемет выменял себе на красные революционные штаны. Этот эпизод с революционером Валентину запомнился больше других.

— Ты куда собрался и почему без шапки?

«Кобыле хвост приставлять», — чуть

не брякнул Валентин, живущий в последнее время новеллами Боккаччо.

— Пойду прогуляюсь. Новый год все-таки.

Голова ясная. Разговор четкий. Только радостная возня мыслей, самые расшалившиеся из которых так и норовят выскочить наружу, полуодетые и растрепанные, пытаются втянуть в свою чехарду.

Валентин вернулся в подъезд. Постоял. Когда пресс-папье из металлических труб поехало, раскачиваясь, с горки, под визги и смех шмыгнул за дом.

На улице было тожелюдно. В этом году снега немножко насыпало. Он белыми острыми носами налипал на туфли. Температура еще не опускалась ниже нуля.

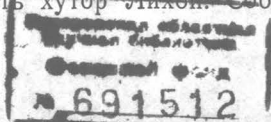
Валентин направился в парк Победы.

В поселке было два парка: «Победы» и «Железнодорожников». Меньшая половина жителей обслуживала железную дорогу узловой станции. Большая половина обслуживала меньшую. Железнодорожное полотно разрезало поселок на две неравные части. Неравные по количеству и величине общественных зданий.

Дворец культуры, послевоенная постройка, был самым большим зданием в поселке. Родным, привычным, знакомым с детства.

Прошлой зимой во время каникул Петровна взяла его с собой в Ленинград на какой-то свой семинар. Валентин впервые оказался в таком огромном городе. Больше всего он был поражен великолепием многочисленных дворцов. Они его ошеломили, напугали. Неужто ими когда-то владели отдельные люди. И как это им удалось удерживать их аж до семнадцатого года...

Парк Победы располагался на самом краю поселка. Из него можно было увидеть Хутор Липкой. Собственно,



поселок и получил название от этого хутора.

В шестом классе Сталина Владимировна водила их в поссовет, и они познакомились с историей родного края.

Хутор, оказывается, стали звать Лихим по имени атамана, некогда грабившего окрестных богатеев. До революции самыми богатыми на станции были лавочники Акатновы. Имена бедных в архивах, запротоколировавших историю, не значились.

Кто-то из девочек тогда спросил, почему в их поселке только два памятника — Марксу и Ленину, почему нет памятника атаману Лихому? Класс прыснул, а Сталина Владимировна объяснила, что атаман не делился с бедными, и она в свою очередь удивлена, почему поселок до сих пор не переименован. Например, в Ленинск или Марксистск.

Валентин подошел к стеле у входа. На ней были высечены имена убитых немецким десантом железнодорожников. В войну станцию бомбили так, что слышали далеко вокруг. Аж в Краснодар долетало эхо разрывов бомб и вагонов с бомбами.

В парке было темно и многолюдно. Но здесь только молодежь.

Валентин стал присматриваться, в чей поток бурной радости направить свое течение сегодняшнего настроения.

— Валуха! Сосед!

Кто-то сзади больно пнул в самый копчик.

Валентин, как волк, обернулся всем корпусом. Но этот юный волк в середине зимы был робок и осторожен, чтобы ответить примерно той же шуткой.

Перед ним стоял Федот. Руки в карманах москвички, застегнутой на одну нижнюю пуговицу. Длинноволосый. Без шарфа и шапки. По обе стороны его держали под руки две де-

вушки. Наверно, на них Федот оперся, когда приветствовал. Что-то уж слишком больно.

Девушки тоже как будто знакомые. Одна, кажется, Цыганка, другая — Королева. Точно, они. С той стороны. В прошлом году закончили школу. Неразлучные подруги.

Валентину на них при случае указала его Петровна, как на самую низкую отметку падения человеческой репутации.

Федот действительно был соседом. Из третьего подъезда. Но с тех пор как он пришел с малолетки, Валентин его видел очень редко, да и то или входящим в свой подъезд, или выходящим из него. Его мать, Федотиху-Богомолку, было видно еще реже. По воскресеньям она ходила в хуторскую церковь.

Петровна с детства запрещала Валентину дружить с Федотовым Геней. Тот постоянно сбегал из дому, где-то пропадал, кого-то обворовывал, с кем-то дрался. Его и во дворе, и в школе ставили в пример, не достойный подражания.

Раньше они учились в одной школе, но Федот младше Валентина и отставал на один класс. В школе Валентин его почти не помнил. Только один случай хорошо сохранился в памяти. Тогда Валентин долго стыдился за него, хотя был совершенно ни при чем. Теперь же хотелось этот случай Федоту напомнить и вместе посмеяться.

Когда Валентин учился в восьмом, а Федот в седьмом, в конце учебного года они играли в футбол класс на класс на летнем поле. Валентин промахнулся по мячу и задел Федота по клееной штанине. Федот только уроки физкультуры никогда не пропускал, если, конечно, не был в бегах, и его в виде исключения допускали без формы. Гена схватился за ногу и повалился как подкошенный. Валентин хорошо почувствовал, что ногу не за-

дел, а Федот катался по траве и громко вайкал. Все столпились вокруг ушибленного. Подбежал учитель.

— Гена, что с тобой? Что случилось? — Кажется, ногу вывихнул, Дмитрий Андреевич. Дерните, пожалуйста. Да скорей же, скорей...

Седой учитель-спортсмен энергично дернул за стопу.

В затаенной тишине раздался треск, отличающийся от благородного хруста кости банальной продолжительностью. Так вибрируют напряженные губы, подражая мотоциклу. Любопытные девчонки первыми бросились в разные стороны, а Федот уже вскочил и погнал мяч в пустые ворота.

После того случая не прошло и месяца, как он взломал дверь школьной оружейки, и его наконец-то закрыли в тюрьму.

Прошлой весной он снова появился в поселке.

Федот не перерос свои метр шестьдесят. Похудел, хотя упитанным никогда не был, сутулился. Но вернулся он еще более дерзким. Со дня освобождения Валентин видел его несколько раз, но о его выходках уже наслышались, в том числе и от Петровны.

— Здорово, Вале! Познакомься.

Девушки протянули Валентину теплые ладошки. Королева назвалась Женей, Цыганка — Сашей. Она подошла к нему вплотную, заглянула куда-то через голову. Явно хотела понять, не выше ли она ростом. В ее лице было что-то неуловимо привлекательное.

— Смотри, поцелует, — сказал Федот.

Саша смутилась, отошла.

Женя тоже казалась высокой, но это из-за пышного, обесцвеченного гидроперитом волоса, зачесанного назад.

— Скородум, в натуре, бабки есть? Ну-ка попрыгай.

Ноющий копчик послал в мозг раздраженный импульс протеста.

— Есть. Червонец.

Валентин полез в карман.

— Ладно, не доставай. Пошли к хазукам, винищи наберем.

Саша взяла его под руку, но он опять стал вдруг шарить по карманам, как будто проверяя, на месте ли деньги. Она поняла. Обиделась. Пошла впереди с Федотом и Женей.

Валентин боялся встретить кого-либо из знакомых. Он знал кого, но пытался перехитрить самого себя, подыскивая своему маневру иные причины.

Они долго ходили то вдоль, то поперек нескончаемого железнодорожного полотна, подлазили под вагонами, переходили по тормозным площадкам.

Валентин пожалел об оставленных дома перчатках. Он так и плелся сзади, низко приседая на ступеньках площадок и держась сбоку под вагонами.

В эти минуты было особенно заметно, как коротка Сашина куртка.

Наконец Федот выбрал ничем не приметный вагон по известным ему признакам и с подсказки своих спутниц. Поднялся из-под ног голыш покрупнее и постучал им в дверь.

— Кто е тук? — раздался из-за двери голос с явно не кавказским акцентом.

— Бухалово есть? — крикнул Федот.

— Не имам, — послышалось в ответ.

Саша приложила палец к губам, дернула Женю за локоть.

— Отец родной, — запричитали они. — Продай вина. Башка трещит. Помираем.

Дверь отворилась. В проеме показался смуглый детина лет тридцати пяти. Курчавый. Вислобрюхий.

— Вина не имам, — повторил он. — Плиска. Коньяк.

— Давай. Все равно, — отозвались все, кроме Валентина.

Они сторговались за десять рублей. Взяли пузатую бутылку, стакан, проводник угостил девушек яблоками. Женя в знак благодарности и Нового года расцеловала его в небритые щеки. После этого проводник не хотел уже отпускать ее из вагона, и в него забрались все остальные.

Здесь стояла панцирная койка, стол, несколько табуретов. Остальное место занимали ящики с коньяком. В углу теплушки — буржуйка, куча углей.

Проводник назвался Стояном. Он разлил по стаканам из их откупоренной бутылки, встал, приподнял пустой верхний ящик, достал полную и сунул Федоту в карман.

Все выпили в полумраке за Новый семьдесят шестой год. Валентин никак не мог решиться. От запаха из стакана передергивало плечи. Он пересилил себя кое-как. На втором глотке поперхнулся, выскочил из вагона.

— Э-э-э, подальше от двери, — крикнул Федот в ответ на его животное э-э-э.

Валентин долго сидел на ступеньке. Он не заметил, как задремал. Где-то свистели локомотивы, лязгали буфера, кричали громкоговорители на столбах. Вдруг через него перепрыгнули Саша и Женя, за ними — Федот. Валентин вскочил, бросился вслед.

Бежали до самого поселка, быстро пролезая под вагонами. Искать тормозные площадки не приходилось. В поселке отдышались. Пошли шагом.

— Ты чем его мочканула? — спросил Федот Женю.

— Бутылкой, — сказала она.

— Надо было сильнее. Вовремя я его вырубил. А то бы всем хана пришла.

— Ничего себе вовремя! Он меня всего облапал, а ты молчал.

— Да-к и ты прижухла. Откуда я видел в темноте... Эх, надо было напоить да пару ящиков увести.

Они подошли к дому Валентина и Федота.

Во дворе была тишина. Компания спустилась в котельную. Кочегар спал с полуоткрытыми глазами. Федот поставил на стол две бутылки.

— Откуда вторая? — удивился Валентин.

— А что же я его зря вырубал, — усмехнулся Федот.

— Вдруг бы очнулся?

Валентин наконец сообразил, что произошло в теплушке.

— Он теперь не вдруг очнется.

Федот вытащил из кармана руку с шипастым кастетом, постучал им по черному лбу кочегара.

Тот дооткрыл глаза. Сел на своем топчане. Федот налил ему полстакана.

— Давай, Мужик, за Новый год.

Этого кочегара во дворе все звали Мужиком. Его фамилия была созвучна прозвищу. Валентин с самого детства помнил, как Петровна, не имевшая привычки утеплять на зиму окна, бывало, пощупает прохладные подоконные радиаторы и вслух проворчит на «этого бессовестного пьяницу Мужика». Как будто среди пьяниц есть совестливые.

Мужик взял стакан, бессмысленно оглядел обступившую его молодежь и с причмоком выпил. Пошарил по столу. Среди мусора не нашлось и корки хлеба. Тогда он потыкался сморщенным окурком в жар Федотовой сигареты, кое-как по стеночке вышел в машинное отделение, открыл топку, взял кочергу и стал ею бестолково тыкать в глубь котла.

— Склонен к труду, — засмеялся Федот.

— Чего? — не понял Валентин.

— Склонен к труду, говорю. У нас на зоне так шутили.

Девушки закурили.

Хотя Федот и нашел в обшарпанной тумбочке банку сайры, Валентин все

равно пить не смог. Саша и Женя не отказались.

— Мужик! — крикнул Федот, убирая открытую консерву в тумбочку. — Ты долго еще долбиться будешь. Иди вмажь.

Кочегар со звоном уронил свое длинное орудие труда, еле-еле закрыл котел.

Выпив еще полстакана, так же причмокивая, он повалился на топчан, на этот раз не только с открытыми, но даже с закатившимися глазами.

Девушки забеспокоились, принялись было хлопотать, но Мужик забормотал, забормотал и как-то хроматически захрапел.

— Надо было его на толчок спроводить. Опять лужу сделает, — сказал Федот.

Кочегар запрокинул голову. В темноте ноздрей булькало и хрипело, прорываясь наружу мелкими брызгами сквозь жесткие волоски. Эти два хлопочущих входа в глубину навели Валентина на мрачные мысли о том, как черно и пусто там, внутри. Пожелай древние египтяне из этой проспиртованной ходячей мумии выскрести мозги, они бы вскоре поняли, что те инструменты, которые для подобной цели запускаются в ноздрю, им не понадобятся. Их давняя догадка о бесполезности мозга подтвердилась бы опытом.

Федот взял со стола неоткрытую бутылку, два стакана.

— Ладно, расход по мастям.

И потащил Женю под руку в соседнюю комнату.

Валентин присел рядом с Сашей. Она стала рассказывать, что произошло в вагоне, то и дело заправляя за ухо черную прядь. Волос не покорялся, словно понимал, что на малиновом воротнике болоньевой куртки он очень красиво смотрится. То неуловимое, что подметил в ее лице Вален-

тин при знакомстве, улетучилось еще с первым глотком коньяка.

Он ее не слушал — смущала возня в соседней комнате. Потом там что-то упало, похоже, стул, послышались звуки ударов, ругань. Они разом вскочили, вбежали к Жене и Федоту.

На полу, действительно, валялся стул. Женя сидела полуодетая на старом диване и рыдала, закрыв лицо руками.

— Гена, ты что?! — набросилась на него Саша.

— А че она, в натуре, целку из себя корчит.

Он с хрустом открутил пробку, глотнул прямо из горлышка и пошел закусывать.

Саша пошла за ним и все успокаивала, пока он зло жевал сайру.

Женя показала Валентину красноту между грудей. Лифчик, сверху затертый, изнутри чище, был для них просторен. Пылающие угольки девичьих сосков едва укрывались в своих тайниках.

— Знает, куда бить. Я уснула, а он воспользовался.

Она заметила его смущение, опустила футболку, взяла с откинутого валика брюки и положила себе на бедра.

Валентин сел рядом, огляделся.

Зеркало в резной спинке дивана было засижено мухами.

Даже эти безмозглые твари любят в таком деле окружить себя зеркальной чистотой.

К некогда побеленным стенам полосками синей изоленды прикреплены вырезки из журналов. Вокально-инструментальные ансамбли. Певицы. Артистки.

Это, кажется, Клаудиа Кардинале. А это? Неужели тоже за женщину приняли?!

Между «Самоцветами» и Эдитой Пьехой висел пышнокудрый румяный Ломоносов.

— Не уходи,— сказала Женя, увидев, что Валентин положил ладони себе на колени и собирается встать.

Сейчас она была красивее Саши. Заплаканная. Беззащитная.

Валентин не мог освободиться от тревожного предчувствия, и, когда слышалась та же ругань, он поспешил на помощь.

— Да вы что, сговорились, что ли,— орал Федот, натягивая Саше на голову ее тонкий свитер.

Валентин с трудом его успокоил, и тот опять ушел к Жене.

Валентин окончательно помрачнел. Он представил, что так и будет бегать до утра и успокаивать то одну, то другую. Он положил руку на плечо всхлипывающей Саше, а сам тревожно ждал звуков из соседней комнаты. Но разговор там постепенно смолк. Вдруг из нее, в промежутки прерывистого храпа кочегара, прокралось настойчивое сопение.

Валентин отважился и приблизил свои губы к Сашиним. Она отвела их в сторону плеча. Валентин разозлился. Пригнул голову на фуфайку в изголовье и накрыл Мужика своим шарфом.

Поцелуй напомнил запах долго неменяемого песка из коробки для котенка.

Саша несколько раз брала его руку за большой палец и перекладывала с пояса своих брюк к себе на грудь. Потом отрешенно сказала:

— Я думала, хоть ты не станешь приставать.

Помолчала. Подумала, глядя в потолок.

— Погаси свет.

Щелчок выключателя окончательно испортил настроение. Валентин снова его включил, взял шарф.

Вошел Федот в спортивных трусах с лампасами и в туфлях на босу ногу. Он принес с собой бутылку и рас-

плескал больше по столу, чем по стаканам.

— Че, Валюха, не получается?

Перевел ехидный взгляд на Сашу.

— А ты поднимись домой. Выпей два яйца, сметаны стакан.

«Тут хоть ... зажуй»,— подумал Валентин. Он сунул шарф в карман и пошел наверх.

До самого двадцать третьего февраля Валентин по вечерам сидел дома. Не подходил к окну, когда под ним раздавался свист и выкрики его имени. Петровна по его просьбе отвечала подосланной мелюзге: «Вали нет», и он украдкой провожал взглядом Федота с Женей и Сашей из-за шторы. Но после подарка Золотаревой Валентин сам стал искать с ними встречи.

В школу он больше ни за что не хотел идти.

Петровна узнала, в чем дело, от Сталины Владимировны и забрала его к себе на ту сторону, но не в свой класс.

3

Кожа вокруг Васькиной татуировки припухла и покраснела. Но он не унывает. В любой камере есть универсальное лекарство, которое всегда под рукой. И наружное и внутреннее (для пользования отбитых внутренностей).

Васька ежечасно мочится на носовой платок и остужает воспаленных кочегаров.

На прогулку он сегодня не идет — не хочет штанами натирать больное место.

Васька в свои сорок пять продолжает оставаться бесшабашно-небезучим. Бесшабашно-небезучие отличаются от бесшабашно-безучих немногим. Последние возьмут да ненадолго остепенятся, продлевая миг удачи. Первые хотят поскорее забыть сотворен-

ные глупости и все время делают новые.

Васька в очередной раз схватил свою неизменную трешку. Он стукнул кулаком по холодильнику в магазине. Кувшин из толстого стекла за девять рублей свалился на деревянный пол и разбился вдребезги. Суд учел его нетрезвое состояние как отягчающее вину. Восьмая ходка и все за помидоры — говорит о таких случаях тюремная поговорка.

Валентин на прогулку не ходит. Он сначала вместе со всеми, еще в сизо, гонял шапку, набитую тряпьем, по здешнему аэрарию, но после прогулок становилось еще хуже. Со свежего морозного воздуха камера кажется склепом, с жадностью прокуренным вдруг ожившими мертвецами, вместо сероводорода выстреливающими трупный запах.

«Общий режим — поели и лежим», — говорит иногда все тот же Васька. Он и Золотой нет-нет и устроят ему то «самосвал», то еще какой-нибудь «велосипед». Валентин знает наверное, что это делают они, хотя все как ни в чем не бывало занимаются своими делами, когда он вскакивает с обожженными пальцами или мокрой головой. «Что, Морячок, опять вода пресная», — говорит Гоп-Стоп. Камера дружно смеется, и Валентин не сомневается, откуда исходит инициатива. Все это считается невинными шутками, на которые грех злиться.

Валентин ничего не может с собой поделать. Он втянулся в это спанье, и чем больше спит, тем больше хочется. Снится ему почти всегда одно и то же. Кто-то рогатый со свинным пятаком вместо носа по-блатному задушевно допытывается у него то ли в отстойнике, то ли прямо на суде, что было между ним и Сашей. Допывается во всех подробностях и требует чего-то гнусного, стыдного, невозможного. Валентин отбивается изо

всех сил, но вдруг замечает, что его волосы распушены по плечам, а рубашку топорщит девичья грудь. Он холодеет, кричит, догадывается, что это только сон, но проснуться не может.

Сейчас Валентин себя пересилил. Он слушает радио.

Из отверстия в стене над дверью диктор говорит о новой конституции. Рядом на тесемке висит подушка.

Васька отвлекается от швов своей майки, в которых выслеживает микроскопических людоедов, и сдвигает подушку на отверстие.

— На хрена, Васек, — не сдерживается Валентин. — Может, что хорошее скажут.

— Дождешься от них хорошего, — бурчит Васька. — Черпак баланды через сутки — вот наша с тобой конституция. Меньше уже не положено. А все остальное — туфта. Попадешь на зоне в штрафной изолятор, там узнаешь гарантии. Общий барак после него покажется курортом. Все эти дачки, свиданки, отоварки — для утешения глупых вольняшек.

Васька говорит беззлобно. Он ворчит, как старый пес на щенка, вздумавшего лизать чужие руки.

— Норму не исполнишь, после отбоя на дальняк приспичит, двойку в школе получишь, в баню, в столовую не в строю пойдешь — лишишься всех своих дачек и свиданок до конца срока. Как-то я пятнашку шизо за одно слово схватил. Оскорбил контролера по свиданиям и передачам. Писявуко — фамилия. На всю жизнь запомнил. Он из моей посылки все батончики выгреб. Тогда эти конфеты только появились. Батончики ведь не шоколадные конфеты? Ну вот. Да им-то не докажешь. Внаглую отложил их в сторону, а я его крохобором обозвал. Мало того, что посылняк отменили, еще и на кичу усадили. А этот Писявуко как раз на следующий день в ПКТ де-

журил. Взял плитку и давай на коридоре яичницу с колбасой жарить. У нас и без того бетон животы повысасал, а он знай себе поет да яйца на сковородку разбивает. Ему орут со всех камер: Писюка — пидар! Писюка — живоглот! Но таких разве чем-нибудь примешь. Только смеялся в ответ: «Пусть Писюка — пидар, пусть — живоглот, зато не голодный».

В коридоре слышится смех. Это возвратились с прогулки.

В камеру вваливаются бодрые, озябшие.

Золотой кладет шапку, фаршированную тряпьем, на «телевизор» — фанерный шкафчик для посуды, — садится с Васькой за шашки. Васька после каждого хода ерзает на подушке — скамья чувствуется и через нее, — морщится от боли. Гоп-Стоп выгоняет из-под шконок обиженного и заставляет его мыть толчок. Афонька — молодой бродяга с черными, как у чифриста, зубами продолжает рассказ, начатый еще в прогулочном базке, как из соляной и азотной кислоты составляют царскую водку и с ее помощью за минуту открывают любой замок. Нарком и Мишаня заинтересованно слушают.

Нарком и Мишаня — подельники. Они вместе взяли аптеку и расстались только на время следствия. По суду получили по два года на брата, снова встретились в сужденке и теперь готовятся на спецзону для наркоманов.

Нарком невысок, широкоплеч, с кривыми ногами, большими ладонями — одним словом, коренастый.

Мишаня — сибиряк. Он на полголовы выше Наркома, но тоже не из худых. У него узковатые глаза и устремленные вверх уши, будто кто-то при рождении долго держал его за голову и не пускал появиться на свет. На левом плече татуировка. Серп и молот крест-накрест, а под ними надпись: «Вот что нас губит». Наверное,

он ее сделал в пику общепринятой, где с надписью сочетается бутылка, карты и голая женщина.

Они служили вместе в Грозном. Там Мишаня пристрастился к тому, без чего Нарком уже до армии себя не представлял. Он и сманил сибиряка к себе на юг рассказами о веселых конопляных полях.

Якобы прячешься в густой высоченной конопле и первым делом, конечно, забиваешь косяк из свежего «пластилина». Свежак цепляет быстро, и ты: хи-хи-хи, так тихонько, вполголоса. Ха-ха-ха — неожиданно раздается где-то рядом. Хо-хо-хо — слышится громче поодаль. И все поле вдруг разражается гомерическим смехом, хотя вокруг никого не видно.

С Васькой Валентин познакомился еще в сизо. Но то была не первая его хата, хотя из первой здесь тоже есть. Лена и Юра Гоп-Стоп. Судьба, как в насмешку, опять свела с ними Валентина. Именно Гоп-Стоп загнал в той хате Леху под шконки. Но Леха, то бишь Лена, с полным правом мог сейчас сказать, что тогда ему еще повезло.

Он пришел в камеру после Валентина, и все произошло у последнего на глазах, которые этот последний так и не открыл. Однако и Валентин может теперь сказать, что ему тоже повезло.

Он вошел в камеру, подавленный ночевкой в отстойнике. Все спали. Свободных мест не было. Валентин прошел вглубь. В дальнем углу на нижней шконке двое играли в карты. Их лица, как струпами, были усыпаны клочками бумаги. У одного на собственном сиде остроконечный нос. Перед очередной сдачей карт они то наклеивали, то снимали по одной налечке. Непонятная клоунада пугала своей неуместностью.

Валентин положил матрац с завернутым в него сидором не на пол, а на дальний от игровых край стола. По-

ложил без какого-либо умысла; просто очень устал. Матрац неожиданно развернулся.

Увидев это, они сразу прекратили игру, позвали его в свой угол, сняли накладки и несколько секунд пристально изучали.

Им было лет по тридцать.

— Откуда, земля? — спросил один. Валентин сказал.

— Как зовут?

— Валентином, — ответил он.

— Вале, значит?

— Нет. Валентином.

— Закуривай.

— Благодарю, не курящий.

— Присаживайся, сыграем.

Все это говорил тот, у которого в глазах было больше напряжения. Кажалось, это не глаза вовсе, а два замуфлированных взрывчатых шарика.

От Федота, Вальта и многих других Валентин знал, как надо себя вести первый раз в камере. Что отвечать на тюремные подковырки. В чем суть порой небезобидных камерных игр для новичков. Но все оборачивалось гораздо хуже. Карты — игра не из того разряда.

— Нет, — сказал Валентин. — Я в них ничего не понимаю.

Они, действительно, были необычными. Вместо знакомых рисунков и символов на желтоватых, великолепно упругих листах были нанесены затейливые орнаменты красной и черной безалигориновой тушью. Но их эстетически законченный вид, кроме смертельной опасности, ничего другого не сулил.

Игроки стали его уговаривать:

— Пустяки. Мы тебе все объясним. Ты быстро поймешь.

Нет ничего проще обыграть вдвоем одного. Даже шулерить не надо. Они обязательно будут играть друг на друга.

Какими же ничтожными показались Валентину терзания Германа или Ар-

бенина. Попробовали бы они отказаться от игры здесь, в тюремной камере.

— Учеба есть учеба, — сказал Валентин. — В шахматы играешь?

Он наклонил голову вдоль стола, не отводя глаз от более настойчивого, по кличке Гоп-Стоп. Опустил Валентин взор, дрогнул кадыком, и все будет проиграно до первого хода. Малейшее колебание — и выпрямиться ему уже не дадут.

— Я во все играю, — сказал Гоп-Стоп. — Даже кто дальше плюнет и кто громче пукнет.

Он придвинул картонную доску белыми фигурами к себе.

Против пары новых носков Валентин выставил полукилограммовую коробку рафинада.

Перед отправкой на тюрьму Петровна умудрилась организовать ему передачу. А как было не умудриться, если в ее классе учился сын начальника милиции.

В школе Валентин неплохо играл в шахматы. Однажды сам Анатолий Иванович сказал: «Скородумов — соперник серьезный». Но когда это было. За последнюю школьную весну и первое нешкольное лето Валентином столько выпито дешевой бормотухи в разбитных компаниях и столько раз бит он был другими компаниями после танцев штакетинной, а то и свинчаткой по голове на столетней войне двух сторон одного поселка. Особенно часто ему начало перепадать в самом конце десятого класса. Драки на летней танцплощадке участились, а он ходил в школу на вражескую территорию. Но шахматы — по крайней мере, не карты, в них много не наплутуешь.

Он выдвинул свою пешку от короля навстречу белой и, увидев, что противник вывел слона, а затем ферзя, повеселел.

Гоп-Стоп это заметил. Он не ловил его глаза, как неопытный воришка,

перед тем как что-нибудь стянуть с прилавка, он все замечал своим нутром. Противник задержал руку на фигуре, еще раз осмотрел доску. Это Валентина развеселило окончательно. Он нахмурился, склонился ниже к доске, глубоко задумался.

Еще ход, и ему будет мат. Детский мат в четыре хода.

Валентин как бы случайно выдвинул пешку от черного слона. Гоп-Стоп стал строить дальнейшую игру только на этой угрозе. Валентин, меняя, а то и просто жертвуя фигуры, быстро оставил себя, а заодно и противника, с тремя пешками друг против друга. Но еще раньше, заблаговременно, он позаботился поставить своего короля впереди резерва.

Победа была обеспечена.

Гоп-Стоп маневра не понял. Минут пять его король безуспешно метался сзади, как блатной на пересылках, подуживая своих пешек.

Валентин придвинул к себе носки. Партнер Гоп-Стопа по картам, похоже, в шахматах ничего не смысливший, казалось, только и ждал, чтобы немедленно вступить в спор. Но Гоп-Стоп не подал никакого повода.

В следующих партиях противник гамбитовал напрапалую.

Валентин понял, что этот человек мухлевать не будет, но также понял и то, что он весь в его власти и окончательный выигрыш почти предрешен.

Валентин то и дело повергал его в цейтнот, но выиграть себе больше не позволил. Он загонял своего короля в пат, сводил на ничью другими способами, реже проигрывал. Он вернул Гоп-Стопу носки и сверху уступил сахар. Дальше дело не шло.

Все чаще и чаще Валентин заставлял противника подолгу задумываться. В эти минуты сам склонялся в дреме.

В камере давно все проснулись, обступили игроков.

Валентин уже рассчитал, что надо проиграть половину сала из своей передачи — целого куса теперь было жаль, — но Гоп-Стоп неожиданно сдвинул все фигуры в центр. Валентин понял, что тот обдумывал сейчас не шахматный ход.

— Ладно, иди, ложись. Все равно ничья будет.

Гоп-Стоп поднял над своей шконкой какого-то мужика, который все еще спал, и тот освободил второй ярус для Валентина, постелив свой матрац на полу у «телевизора».

— Хитрый. Казак, — расслышал Валентин, мгновенно засыпая.

Своей новой кличкой он тоже был обязан Гоп-Стопу. Кличка — это единственное, что дается безвозмездно.

— Ну что, Морячок (Валентин ни днем, ни ночью не расставался с тельняшкой, подарком отца), покатила масть? Получишь двушник-трешник общего, потом, глядишь, пятишник-семерик строгого, а там и особый не за горами, — говорил Гоп-Стоп. — Освободишься лет так в сорок. Вся жизнь впереди. И какая жизнь! Все тебя будут побаиваться. Молодняк — только у тебя искать совета и защиты.

Когда-то Валентин мечтал вернуться таким со службы на корабле. Потом увидел, что поселковая молодежь больше уважает тех ребят, которые пришли от хозяина.

Гоп-Стоп являл собой полную противоположность тому типу врожденного преступника, который обозначил Ламброзо. Более того, в его внешности не было и тени от уголовника-маттоида. Если бы знаменитый итальянский криминолог с божьей помощью дожил до семидесятих годов двадцатого столетия и стал бы вдруг высекать указанный им тип в казематах России, то ему пришлось бы сделать поправку на национальность. Он, конечно, в достатке обнаружил бы те или иные черты врожденного преступ-

ника в любом месте исследуемого государства, но понял бы, что полный их комплект не сосредоточен ни в одном экземпляре. «Или в этом государстве черты врожденного преступника только совокупляются, или наоборот — рассредоточились», — сказал бы ученый.

За долгие годы каменный гнет не сузил Гоп-Стопова лба. Не пригнул его фигуру к полу. Не раздвинул постоянный нервнотрепкой достоинства блатных жестов. Не озлил взгляда и помыслов. По его лицу, как по телевизионной рамке, можно было регулировать пропорциональность изображения на экране.

Гоп-Стоп считал себя вором в законе. Это была та идея, которой он поставил на службу всю свою жизнь. Юра Никишин был жесток ровно настолько, насколько жесток воровской закон. Ни больше, но и не меньше. Все, что сверх закона — беспредел.

Бепредел вору в законе претит. Он лишает его власти. Беспредел разрушает самые незыблемые тюремные правила. Поэтому воры в законе ревнивей других следят, чтобы он не допускался.

Да, он мог бы выиграть не только Валентина, но и любого гротесмистера со всеми его потрохами, окажись тот в его камере, но Гоп-Стоп не обидел Валентина не потому, что пожалел сердцем. Если обижать молодых, смысленных ребят, то на кого же останется воровская идея?

Он никогда не подметал в камере, не выносил парашу, если таковая имелась; он ни за что не лег бы на пол или на верхний ярус, не поднял бы с пола оброненный хлеб или сигарету. Да он просто никогда бы их не обронил. Такое даже невозможно представить. Одним словом, он строго следовал букве своего закона. Еще один-два срока, и он будет следовать ей особо.

Как-то его земляк, с которым он сидел играть в карты только под наlepки, вызвал его на разговор о тупиковости воровской идеи.

Валентин слышал тогда о ней впервые, но сам спор на эту тему идет по тюрьмам и лагерям с довоенных времен. Суть ее заключается в том, что рано или поздно к власти придут воры-профессионалы.

Валентин не встревал ни в какие разговоры — это было общетюремной этикой, но эта перепалка между ортодоксом воровской идеи и его оппонентом была на виду, и Валентин встрял.

— Допустим, — сказал он, — что власть окажется в руках у воров в законе. Допустим, они станут лучше защищать мужика. Но от кого? От тех же воров вне закона, которые автоматически станут крысами. Что ж, воры быстро разгонят их по помойкам (известить их корень невозможно), но чем тогда паханы будут лучше нынешних начальников?

Ответ Валентин получил более чем ошеломляющий:

— Справедливостью. У воров в законе отпадет нужда воровать, а крысы они передавят.

— Тогда первым паханом нужно считать царя Хаммурапи. Он боролся с крысами своего государства решительней остальных, однако тоже малоуспешно.

— Воры в законе, — возразил Гоп-Стоп, — не царь Хаммурап. Они не станут рубить провинившемуся руку, они сразу будут рубить голову. Сейчас зоны и тюрьмы переполнены донельзя, тогда же они уже к следующей пятилетке станут не нужны.

Замечание Валентина о том, что воры в законе тоже будут жить пятилетками, он пропустил мимо ушей.

У Гоп-Стопа была всего одна наколка, имевшая свое определенное место. На ноге, повыше колена, бугрилась одинокая могила с крестом.

На холмике синели три буквы: ЗНК — здесь нет коммунистов.

Валентин догадался, каких крыс они будут давить, если дорвутся к власти.

Гоп-Стоп находился под следствием четвертый месяц, и один случай с ним стал уже тюремной легендой. Как-то он поспорил с надзирателями и отказался войти в камеру. Его не стали заталкивать силой, а повели, как он думал, в карцер, но неожиданно толкнули к обиженным. Он не растерялся и, схватив стопку мисок, — первое, что попало под руку, стал крушить ею черепа направо и налево, как Самсон ослиной челюстью. Он пробился к решетке и, тем обеспечив себе тыл, повернулся лицом к «филистимлянам», чтобы свалить оставшихся или пасть самому. Но один, лежавший на верхней шконке, оказался у него сзади. Он изловчился и нанес удар пяткой в шею. Гоп-Стоп, едва касаясь руками и ногами пола, пролетел через всю камеру, разбрасывая миски. Еще секунда, и он ударился бы головой в дверь. Тогда бы для него все было кончено. Они бы сделали с ним то, что он сделал с некоторыми из них. В это время распахнулась дверь. Надзиратели увидели в волчок, что он может понаделать трупов. Гоп-Стоп выпал в коридор и сразу встал на ноги. Его отвели в прежнюю камеру, где он тщательно помыл руки с мылом и больше не искал правды по пустякам, всерьез опасаясь, что с его падением некому будет воевать за идею.

В глазах Валентина Гоп-Стоп был героем. Он с честью прошел малолетку и притом был москвичом. Последнее Валентин оценил позже, когда понял, что ко многим москвичам здесь отношение особое.

Многие из них носят кличку Москва. В Москве самым ничтожным считается слово «деревня». «Эх ты, деревня», — скажет житель столицы

какому-нибудь невеже в толпе метро или подземного перехода и считает, что этим сказал все. «Эх ты, Москва», — скажет кто-нибудь в тюрьме за пределами московской области, и этим сказано все. Придет очередной этап из столицы, и кто-то повторит обязательно и без того всем известную поговорку: «Прилетели к нам грачи: педерасты-москвичи». «Опять грачи, опять дрови», — ответится другой.

— Раньше москвичи держали мазу, — сказал как-то Гоп-Стоп. — Среди них и сейчас хватает достойных воров, но в целом Москва в глазах преступного мира себя уронила. — Дальше он свою мысль развивать не стал, но было и так ясно — склоняют сейчас москвичей на всех пересылках.

Москва, как Вавилонская башня, возгордилась своей недосыгаемостью. Гордыня разошлась кривыми трещинами, ставшими кровеносными сосудами московского характера. Самый последний москвич счастлив, что он последний не где-нибудь, а в столице. Самый последний москвич самым первым попадает в тюрьму, и за границей родной области считает себя блатной косточкой уже потому, что он из столицы.

Гоп-Стоп с детства скитался по исправительным учреждениям. Он сбегал из дому в двенадцать лет, прихватив золото из серванта и «Леньку Охнаря» из книжного шкафа. Юра подался в тот город, который вся страна за глаза называет Папой. На вокзале его сцапали в спецприемник, и больше он города не видел.

За украденное золото, которое он успел кому-то сплавить, Юру направили в ДВК. Настояли потерпевшие. Когда-то они, еще сами дети, со слезами на глазах отреклись от своих родителей, политических преступников. Теперь с легкостью отказались от сына-уголовника.

Через два года Юра был уже в ВТК.

Потом снова ВТК, но со строгим режимом. Сейчас он готовился ко второму сроку на строгом взрослом. За что он попадал в тюрьму и за что попал в этот раз, оставалось только гадать. Кличка Гоп-Стоп наводила на мысль о грабежах.

Вор в тюрьмах и на зонах не обязательно тот, кто воровал. Вором по положению здесь мог стать почти любой, если, конечно, мог. Бывало, и бродяги-труболеты становились ворами в законе.

«Заворовался», — скажут про того, кто забудет вовремя подмести в камере. «Заворовался», — скажут, когда кто-то не встанет утром получать свой завтрак, и ему поставят миску с этим словом на стол. «Заворовался», — скажут еще по многим подобным поводам.

Юра не стеснялся называть себя москвичом. Он ни за что бы не отрекся от своего детства — самой светлой поры своей жизни. Он знал, что лучшего времени для него теперь не будет. Гоп-Стоп не мог ничего хорошего рассказать о женщинах, о любви, но о детстве рассказывал увлекательно, хотя слушателей больше интересовала его жизнь в тюрьмах и колониях. Он рассказал о нем всего два раза, будучи в настроении, но Валентину запомнилось.

Рассказы в камере длились ночи напролет. Валентин тоже умел кое-что «приколоть». Даже у Риды, прозванного так за то «ри-да-да, ри-да-да, ри-да-да-да», которое он всегда напевал вполголоса, появлялся некоторый смысл во взгляде, когда Валентин рассказывал о князе Серебряном, Квентине Дорварде, Скарамуше. Этот бродяга в пенсионных годах, но без единого года трудового стажа, прятавшийся на зиму в тюрьму от холода и бескормицы, порой даже бросал мурлыкать, и казалось, сейчас он вскочит со своего места у «телевизора» и

закричит: «Коня, коня! Полцарства за коня!»

Рида как-то тоже хотел включить в эти вечера, но сразу выяснилось, что, кроме канализационных ходов, тройного одеколona на похмелье да таких же бродяг другого пола, он ничего в своей жизни не видел.

Все это поначалу Валентина удивляло. Кроме Риды, десятую часть из того, что знал он, не знал никто в камере. Рида не знал и десятой части.

В последнее время на свободе Валентин о морфлоте уже не думал. Он вращался в основном среди тех, кто сидел. Но тогда заговорить с ними о книгах, литературе, искусстве Валентин и не думал. Ему казалось, что бывшим зекам на все это наплевать. Они знают о жизни что-то такое, рядом с чем все остальное звучит ненужным бредом.

Как-то Рида подсел к Валентину и сказал:

— Что, брат, тяжело?

— Да ну-у, ерунда, — напустил на себя равнодушие Валентин. — Лето, осень — год долой, восемь пасок — и домой.

— Восемь не восемь, а на год-полтора рассчитывай.

Он выдержал паузу.

— А ты делай, как я. Худо ли, хорошо, всегда пой. Не обязательно вслух. В уме себе пой и пой. Лучшего лекарства для души нет.

Валентин попробовал. Не получилось. Песня не заглушала обвала раздумий.

Скоро он и сам увлекся своими рассказами и занимал голову когда-то прочитанным, стараясь вспомнить что-либо подробней. Иногда присочинял. Классики простят, а слушателям все равно. Врать в тюрьме — грех немалый. Бывает, что поймавшегося на слове крепко тузят. Но присочинить к кинофильму или к книге простительно.

Валентин видел, что Гоп-Стопу тоже нравятся его рассказы, и он, как мог, старался не подпасть под его влияние. Валентин ясно осознавал, что сегодня он здесь, рядом с тем, кто может дать поддержку, а завтра снова окажется в отстойнике, где припомнят каждый косой взгляд. Да и не хотелось уже Валентину добиться масти пацана.

Гоп-Стоп поначалу называл его сынком, но вскоре понял, что этот статус Валентину не подходит, и потому — все «Морячок» да «Морячок». За ним, конечно, подхватили остальные.

4

В середине декабря Валентин ушел этапом в родные КПЗ закрывать «дело». По возвращению его определили в другую камеру. Но незадолго до ухода на этап в той, первой его, хате произошло событие, которое гнетет до сих пор.

Чем ближе новый год, тем свободнее становилось в сизо. Суды особенно торопились, чтобы поспеть с годовой отчетностью. Как только появлялись свободные места, их занимали переведенные из соседних камер. Вскоре и места были, и переводить не стали.

Общее настроение удручалось день ото дня. Все реже кто-нибудь после отбоя говорил: «Морячок, приколы что-нибудь из высшей материи...»

Валентин занимал нижнюю шконку. Переходить вниз он не хотел, привык уже наверху, да и клопов на свету поменьше, но Гоп-Стоп настоял:

— Ложись. Занимай место. Придет кто-нибудь из моих кентов, я тебя опять наверх переложу.

Ушел на суд Рида, до самой двери напевая свой мотивчик. Вслед за ним земляк Гоп-Стопа, который приезжал в эти края, чтобы подзаработать на

пыли с конопляных полей. Теперь вот поехал за расчетом. Местная молодежь и сама знает цену своей земле и бережет от конкурентов родные поля лучше всякой милиции.

В самом начале декабря от соседей перевели Михлая. За ним появился Левченко. Ему шили сто двадцать вторую.

— Самая опасная статья, — пошутил он. Даже на приговоренных к расстрелу распространяется срок давности, а на меня не распространяется.

Ему грозил год заключения как злостному неплательщику алиментов, но Левченко говорил о себе как о злостном плательщике. Он все сокрушался вероломством своей бывшей жены. Скитаясь по колхозным шашкам, с ног до головы, если верить его словам, обувал и одевал свою шестнадцатилетнюю дочь, часто снабжал ее мать наличными.

— Пусть теперь по пятнадцать рублей пополучает, может, поумнеет, — ворчал он, шастая между шконками в рубашке навыпуск.

Левченко был почти стар. Давно за сорок. Он пришел в камеру впервые, и Гоп-Стоп с Михлаем хотели устроить ему какую-либо игру, но Левченко наотрез отказался.

— Вы — молодежь, вот и веселитесь между собой, а меня, старика, не трожьте, — заявил он, и устроители спасовали. Его довод показался убедительным.

В отстойнике Левченко имел хорошую возможность зрительно приобщиться ко многим развлечениям юношества. С этим ему повезло. Этап пришел перед выходными, и Левченко пробыл там трое суток.

У Михлая, как и у Валентина, была сто сорок четвертая. Ему с женой срочно понадобились деньги, и они пошли к его матери. Ее не оказалось дома, и они сняли со стены ковер.

Потерпевшая заявила, уже зная, кто украл.

Гоп-Стоп сошелся с ним ближе, чем с остальными.

Два дня спустя в камеру как-то боком вошел парень. Он словно ошибся дверью. Случайно попал не туда, куда хотел. Вид растерянный, заискивающий. Так и стоял у двери. Она захлопнулась, кругом незнакомые, а выйти некуда.

В хате проснулись недавно. Часов в одиннадцать. В шесть утра, конечно, все вставали, но после проверки, уборки и завтрака снова увалились.

— Проходи, земляк, не стесняйся. В этом доме места всем хватит,— сказал клячелицый Михлай.

Физиономия Михлая отличалась от той части одра, из которой торчит хвост, именно бесхвостостью. Скуловые кости были обтянуты тонкой серой кожей. То, что между этими костями и нижней челюстью, щеками можно назвать только тогда, когда Михлай набивал рот едою. Восемь-девять взмахов «веслом», и обозленный желудок втягивал их вместе с гороховым или кукурузным клейстером до обеда.

Вошедший парень, несмотря на испуг, был свеж и румян. Половый волос разоренной стрехой голодного года торчал из-за ушей. Губы, как два перезрелых стручка фасоли. Похоже, с приходом каждой весны они лопались и долго не заживали. Такие лица всегда выискивают в самом начале длинной очереди, чтобы с полной уверенностью на успех попроситься вперед.

Сам он был невысокий и сутулый, но не худой, и потому зад казался шире, чем плечи.

Парень приторочил свой матрац на верх ближней шконки. Внизу было место Михлая.

Гоп-Стоп подсел на Михлаеву шконку и равнодушно спросил:

— Откуда, земля?

Сегодня он был в опасно-веселом настроении. С утра облаял баландеров, острил, улыбался. Очевидно, после завтрака он больше не ложился.

Валентин не раз подмечал его сходство со змеей. По-тюремному мудр и ядовит. И когда яд накапливался, он его срочно выпускал, чтобы не отравлял самого.

Парень назвал Гоп-Стопу какой-то хутор, который Гоп-Стопу ни о чем не говорил. Не зная воочию той области, в тюрьме которой он находился, Гоп-Стоп неплохо разбирался в местной географии по тюремной науке людской молвы. Но хуторов он, конечно, и местных не знал. Даже понаслышке. А здешние станицы, которые он изучил по их представителям, вместе с ним знала вся планета.

— Так. Годится. Давай знакомиться. Я — Гоп-Стоп. Это — Морячок. Это — Серега,— указал он на Михлая. Затем были представлены Левченко, Алик и остальные.— А тебя как?

— Леха.

— Леха? Да ведь леха — это по-украински свинья. Ты что, свиньей будешь здесь жить?

— Не. Не буду.

— В натуре, имя называется. Мы тебе сейчас кликуху подтюхаем. Выбери: Сарадип, Акус, Хутеп?

Леха заподозрил неладное. Для него что Гоп-Стоп, что Сарадип звучало одинаково подозрительно.

— Лучше кличьте по фамилии.

— И как же твоя фамилия?

— Уланец,— ответил он, ставя ударение на последнюю гласную.

— Ну что ж, годится. А какую статью тебе шьют?

Леха задумался.

— Восемьдесят... девятую.

— Ого! И что же ты скоммуниздил? Телегу сена из колхоза?

— Та не, комбикорм.

— Эх ты, хозяин. Лучше бы магазин на уши поставил.

— Та шо там брать? Концервы?

Леха неплохо понимал то, что говорил ему Гоп-Стоп. Видно, блатная музыка докатилась и до его отдаленного хутора.

— Шел на тюрьму и так прикинулся,— продолжал Гоп-Стоп.— Лепень коцаный. Шкеры как у труболета. Телага вся занюханная.— («Даже позаимствовать нечего»,— мысленно вставил Валентин.)— Ты что, нас не уважаешь?

— Уважаю. У нас все так ходят.

Леха снял телогрейку, встал, подсунил ее под подушку. Темно-серые, или светло-черные, штаны в мелкую полоску линиями пазухами провисли на коленях.

— В клуб тоже все так ходят?

— Клуба у нас нема.

— Да, вам бы еще клуб, а после вечерних сеансов раздачу комбикормов организовать, и мы бы с тобой так никогда бы и не поймали удовольствия побеседовать... Ну ты как, по фене ботаешь или по парашам летаешь? — вдруг резко изменил Гоп-Стоп ход своей мысли.

На Лехино лицо опять возвратился испуг. Гоп-Стоп не стал ждать ответа, поскольку вопрос был почти риторический.

— Ладно, парень, ты, я вижу, хозяйственный. К хозяину попадешь, хозяйским станешь. Тут вот какое дело. У нас в камере старосты нет. Мы сегодня уже собирались спички тянуть. Так что ты вовремя пришел. Будешь у нас старостой. Согласен?

Леха задумался. Эта должность на общественных началах, кроме хлопот, ничего не обещала.

— Лучше спички тяните,— сказал простодушно.

— Да нет, спички ты будешь тянуть. У нас такой порядок,— вступил в разговор Михайлай.

Он вытащил из коробка девять спичек. По числу людей в камере. У одной отломил головку и зажал их в ряд рукой, согнутой в локте. Тыльную сторону локтя прижал к тому месту, которое у нормальных людей называется животом.

Гоп-Стоп щелкнул Левченке пальцами:

— Завяжи ему глаза.

Но тот как будто не слышал.

— Морячок, завяжи!

— Связался черт с младенцем,— проворчал Левченко.

Валентин нехотя взял Лехино полотенце. Стал завязывать ему глаза. Он знал эту игру еще по воле, но подсказать не решался. Вдруг Леха не сделает того, что надо, с иголкой, которую можно незаметно передать. Струсит! Не поверит. Подсказка обнаружится. Тогда несдобровать.

Он подвел Леху к клячезаду Михайлау, который тем временем снял штаны и вставил спички в складку, похожую на согнутый локоть и на ошупь от нее неотличимую.

Леха тщательно выбирал губами, как было предусмотрено правилами, нужную спичку. Потом начал тянуть.

Михайлай что было силы зажал этот необычный жребий.

Леха боялся вытянуть две спички сразу, и старательно подбирался к понравившейся.

— Нехай отпустит, а то покусую,— проговорил он с зажатым ртом.

Все разом захохотали, и Леха сдержнул повязку.

Валентин тоже не удержался от смеха. Было мудро поставить себя на место того, который вгрызался все глубже и глубже.

— Ах ты, падлюка!

Леха бросился на Михайлау, подмял его под себя, стал звонко лупцевать кулаками по чем попало.

Гоп-Стоп быстро поднялся и прицельно ударил его ногой по горлу.

Леха моментально опрокинулся навзничь и громко захрипел.

Михлай вскочил, занес над ним ножку, как кузнечик, приготовившийся стрекотать.

— Остынь. Я его усыпил,— оставил его Гоп-Стоп.— Давай воды.

Михлай плеснул из кружки в одеревеневшее лицо.

Леха очнулся. Сел на полу.

— Ты че, в натуре, черт неумытый! Шнифты погашу!.. Чичи потараню!..— И попер, и поехал Михлай в том же духе. Но Леха, похоже, все никак не мог сообразить не только как здесь оказался, но и вообще: кто он и откуда взялся на этом свете.

— Не матись...— только и прохрипел в ответ.

— Ох, и подуплил же я таких на малолетке. Ох, и понаделал же скворечников.

Гоп-Стоп выдавил мелкий плевок, как птичка капнула, и ушел в свой угол.

Валентин представил, как Гоп-Стоп кулаком делал из груди скворечники, и ему стало не по себе.

С этой минуты Леха для Гоп-Стопа как бы перестал существовать. Он его не видел в упор. Леха это чувствовал и пытался как-то наладить отношения.

Михлай без поддержки нападать на него не решался и выжидал серьезную зацепку.

Гоп-Стоп обычно держал свою напечатую пачку сигарет на столе. Леха решил закурить именно у него. Наверное, хотел не только курить, но и прозондировать пути к примирению. В хату он пришел только с тем, с чем его арестовали и увезли в районные КПЗ, то есть с пустыми руками. Но будь у Лехи хоть табак, он и его бы не довез до тюрьмы.

По-детски наивно, как бы отдавая себя в зависимость, он спросил у Юры

сигарету. Тот кивнул ему на открытую пачку на краю стола.

— Спасибо,— сказал Леха, прикуривая от его же спички.

— Спаси свое гузно,— на всю камеру рывкнул Гоп-Стоп.

Леха не понял, хотел улыбнуться, но сконфузился и поспешно ретировался.

Нашел у кого спросить. Обладая Гоп-Стоп даже секретом бессмертия, Валентин и тогда бы к нему не обратился.

Леха попал в тюрьму, не зная не только давних ее традиций, но и повседневных обычаев. Он попадал впро�ак на каждом шагу. Пугался. Терялся. Столбенел. Он не знал, какие слова можно говорить, а какие нельзя. Он как-то заматерился, с точки зрения тюремной этики так кощунственно, что его опять чуть не побили. Он открыл парашу, когда все ели, и вечно голодный Михлай не задумываясь швырнул ему в лицо последний кусок от своей пайки.

Как животное на пастбище, допеченное слепнями, бросается сквозь кусты, так Леха бросился к кормушке проситься в другую камеру, и после этого даже Левченко долго отказывал ему в сигарете.

В другой камере ему было бы еще хуже. Телеграф работает исправно, и не дай бог выломиться кому-нибудь из своей хаты.

— Леха, не становись грязными ногами на матрас,— пинал его Михлай, когда тот забирался на свое место.

— Леха, посмотри у себя вшей...

— Леха, неси парашу...

Даже в общем-то незлобивый Левченко и тот порой не воздерживался от укоров:

— Нашему Лешке голова дана, чтобы семечки из подсолнухов выколачивать,— изредка повторял алиментщик.

Валентин втихаря попытался объяс-

нить ему основные правила, нормирующие внутрикамерную жизнь.

Леха внимательно выслушал, но мало что понял. Всяких хитростей было так много, что пространные объяснения внесли еще больше сумятицы и растерянности. Леха в тот же день сказал мотыльному Алику с вечно распахнутым и перекошенным, как ширинка у деревенского пьяницы, ртом, чтобы тот не обижался, и нарывался на уничтожающую отповедь.

Хуже всего Леха переносил не бескормицу даже, а бестабачье. Ему уже и Левченко не стал давать по целой сигарете и покурить оставлял не каждый раз.

Валентин не понимал Лехиных страданий, но видел, как тот настораживался на своем месте, которое теперь лишний раз не покидал, когда кто-нибудь закуривал. При внешней неподвижности его внутреннее беспокойство, словно крылья, трепетало в тесной клетке камеры. Этот всех задевающий трепет то находил сочувствие, то вызывал раздражение. Леха лучше всех угадывал общее настроение, но даже при самом скверном не удерживался и просил: «Покурим, Серега? ... Юра? ... Алик?» Он чувствовал, что наверняка нарвется на изощренный отказ, но пусть лучше издевка, чем упустить малейшую возможность. А вдруг повезет. «У меня ты всегда покуришь», — отвечал Серега ... Юра ... Алик... — Крутись, земляк, на стороне.» Неизменный смех сопровождал затасканную шутку.

Валентин не мог понять Лехиных невзгод не потому, что он тогда еще не курил. Панически бесконечное недоедание не закрепляло его юношески хрупкие, истеричные мысли на чем-то другом. Он пытался понять только одно: так ли и остальным плохо от этой постоянной пустоты в желудке, которую природа особенно не терпит.

Никогда еще Валентин не испыты-

вал такого планомерного голода, как в последний месяц того злополучного года.

Второй коробок непроигранного сахара и кусок сала — вся его передача — давно были съедены. Сахар он постепенно съел сам, а салом делился с кем ни попадя, даже с Ридой, отрезая перед каждой раздачей по приличному ломтю. Испытывая неловкость, он не мог его есть сам-на-сам.

Гоп-Стоп от угощения резко отказался. Из того сахара, который он выиграл у Валентина, на следующий вечер была сварена жженка его земляком. Земляк, глядя на Юру, от сала тоже с холодной благодарностью отказался.

Теперь Валентин уже крепко жалел, что так необдуманно его растранижил. И резать надо было потоньше, и только вечером, чтоб голодному спать не ложиться. И тем более никому не давать.

Как это он не подумал хоть что-то оставить на черный день? Да потому и не подумал, что в тюрьме все дни черные, а светлый между ними тот, когда что-то имеется кроме общих государственных благ.

Их кормили на тридцать три копейки. Утром пайка хлеба на весь день. Считанные ложки серой слякоти, которую и по вкусу не всегда определишь, перловая она или овсяная. Крошечный кулечек сахару, но кипятка вдоволь. В обед вместо кипятка и сахара полмиски супа, состоящего опять-таки из кипятка, нескольких стружек капусты или моркови, иногда и того и другого, смотря что стояло в меню — суп или борщ. На второе все та же каша. Вечером она же. Но назвать это кашей язык не поворачивался, а когда эта жижа во рту, языку и поворачиваться не надо. В этом процессе жизнедеятельности организма он становится самым ненужным рудиментом. Каждый вечер давали одну-две

селедки. Если иногда вместо нее была килька, она считалась наравне с анчоусами.

Есть селедку на ночь, конечно, бескультурно, но это не самая дурная манера, преподаваемая тюрьмой. Валентин в связи с этим вспомнил слова своей покойной бабушки, которая говорила ему в детстве: «Вот накормлю селедкой, а пить не дам, будешь знать, как слушаться.» Тогда эти слова его только забавляли, а теперь он понял, что она их не сама выдумала.

Но чаще всего Валентин вспоминал, как летом после девятого класса их всзили в колхоз полоть кукурузу. Обедали они в столовой хутора Лихого. Пролежав в кустах до полудня, класс с неохотой тянулся в колхозную столовую.

Борщ всегда был с мясом. Гарнир — с еще большим куском мяса. Хлеба — сколько влезет. Сладкого до приторности компота — хоть залейся. И за все это — те же тридцать три копейки! Потому так часто и вспоминаются те обеды.

Да что обеды! Хотя бы три-четыре, ладно, три чернильницы в день, и можно было бы думать о чем-то еще. Те чернильницы из черного хлеба с молоком, которые через силу съедал его любимый вождь в тюрьме, когда жандармы мешали ему писать молоком между строк.

Часто просыпаясь среди ночи, Валентин до хруста закусывал выпуклый шрам на нижней губе. Он лежал на спине, и ему казалось, что потолок опускается все ниже и раздавит его, даже если он спрячется под шконки. Перед глазами плыли какие-то амебы, инфузории.

Потом он шел к параше и, прыгая на одной ноге, вытряхивал из ушей слезы.

В одну из таких ночей Валентин почувствовал, что Леха тоже не спит. Тот осторожно слез со своего яруса

и босиком подошел к решке. Постоял. Пошел назад.

Гоп-Стоп резко вскочил.

— Леха, вернись... Положи на место, что взял!

Леха разжал кулак. Всунул в пачку сигарету.

— Ах ты, крыса!

Гоп-Стоп громко щелкнул его растопыренными пальцами по глазам. Леха тут же разрыдался. Сел. Положил голову на стол.

Гоп-Стоп сгреб рубашку на трясущихся плечах, выдернул Леху из-за стола, с треском, как мешок с арбузами, захватил в кулак гашник штанов и, не давая ему опомниться, быстро поволок к параше, подгоняя коленкой в зад.

Босые ноги прошлепали по цементу мимо Валентина. Он накрылся подушкой, но все равно было слышно.

Валентин почувствовал, что многие не спали.

От двери доносились спокойные, почти ласковые слова Гоп-Стопа и Лехин затихающий плач.

Валентину показалось, что Юра больше уговаривал себя, чем Леху. Ему вдруг подумалось, что Гоп-Стоп никогда не сядет за изнасилование.

Когда настойчивое сопение и приглушенные плаксивые жалобы, кажется, разбудили бы даже несмысленного ребенка, раздался громкий храп Михлая. Кто-то, кажется, Алик, истерически расхохотался.

Наутро Лехе заточенным супинатором пробили дырку в миске, закрутили в штопор ложку, у кружки оторвали ручку и все это бросили ему под шконки. Старшину на проверку, затянутого в портупею, как в сбрую, Михлай, ухмыляясь, поправил:

— Не Уланец Алексей Семенович, а Защекина Елена Козловна.

Старшина только гикнул, как жеребец, и выскочил в коридор.

Перед самым уходом Валентина на

этап новое событие потрясло камеру. Мать Михлая, видно, обила все пороги нужных и ненужных ей учреждений в области и в столице, и ей вернули-таки заявление о краже. Дело прекратили на стадии расследования, и Михлай собирался домой.

На радостях он бездумно зашвырнул только что полученную пайку под шконки, и Валентин очень пожалел, считая, что имел на нее гораздо больше морального права.

Гоп-Стоп напустил на себя веселье, но было видно, что на душе у него кошки скребут.

— А кем твоя матушка работает? — спросил он Михлая.

— Да работага. На железной дороге вагоны осматривает.

— А мои идейные, — с грустью, без обычного ехидства сказал Юра.

5

Вечером, после ужина, временных постояльцев хаты один-девять выводят в баню. Васька тоже отважился пойти помыться. Валентин таких мероприятий не пропускает.

Из дырявых труб под потолком с грохотом высыпается вода. На расстоянии вытянутой руки она распадается на множество отдельных горошин, обжигающей окалиной впивается в тело. Но мыться надо скорей — пока докричишься, чтоб сделали похолодней, кончится и эта так же внезапно, как полилась.

Валентин набирает воду в ладони, подбрасывает ее вверх и ловит на плечи. Золотой и Васька на чем свет кроют юстицию со всеми ее придатками, и это не так уж глупо. Самому министерству, конечно, ни холодно ни жарко, но оружие в голос тюремные острословы так подогревают себя, что умудряются подставить под бичующие струи самые чувствительные места. Васька даже рискует окатить двух

своих неугомонных энтузиастов, но тут же выскакивает в безводный промежуток, энергично подталкиваемый ими сзади.

Гоп-Стоп ополаскивается не намыливаясь, подходит к рифленой металлической перегородке, находит прожег в сварочном шве и прикидывается к нему прищуренным взглядом.

За перегородкой тоже шумит вода, слышатся неясные голоса, смех.

Валентин думает, что по ту сторону моются женщины, так плотоядно смотрит Гоп-Стоп. Он в свою очередь исследует швы, но отверстия не обнаруживает.

— Кто там? — подходит он к Юре.

— Цвет нации, — сквозь зубы цвиркает тот вместе со слюной и уходит вытираться.

Валентин заглядывает. В мерцании сближенных ресниц он видит точно такую же душевую, но в ней моется около полусотни молодых парней.

Обиженные. Совсем другие, чем в камерах. Смеются. Резвятся. А вызови любого из них из-под шконок, он и глаз на тебя не поднимет. А если и посмотрит, то так, как будто знает про тебя такое, чего ты и сам про себя не знаешь. Многим из них еще в армии служить. Если в тюрьме армию чаще всего вспоминают, даже обращаются друг к другу по-армейски: земляк, неужто они в армии про тюрьму забудут.

В тюрьме обижены все. Нет такого зека, который не считал бы свой срок чрезмерным. Но одни ропщут только на закон, другие еще и на людей. «Ты обижен?» — спросит иной раз тюремный дока желторотого. «Да. Обижен. Законом», — ответит тот. И все. Больше доке крыть нечем.

Валентин не сомневается, что после зоны его ждет стройбат. Но теперь он служить боится. Он уже сейчас за некоторые слова может любому кадык зубами вырвать, как пробку из бу-

тылки с красным вином, но упереть кого-нибудь головой в угол... Никогда! А если в одной казарме с ним окажется обиженный, которого он знает? Валентин будет просто обязан его всем показать. Ведь там много судимых...

Смачный плевок с той стороны залепляет отверстие. Но оно так мало, что ни одна капля не проникает за перегородку.

Что уж теперь плевать.

Валентин не торопясь отходит под струю.

Вася с Золотым добрались до самых точных и смелых определений обсуждаемого предмета. Но вода кончается намного раньше, чем их бранные слова.

Валентин вместе с остальными получает свою одежду из прожарки. Раньше он ее туда не сдавал, порой прожаривали так, что белые майки становились коричневыми, но через пару недель камерной жизни он почувствовал что-то неладное. Имея перед глазами многие примеры, вывернул тельняшку наизнанку. Так и есть. Швы, как инеем, забиты гнидами. В бахромах истертых ниток неуклюжими черепашками барахтались бледные вши. Некоторые из них уже вытянулись и почернели, как торпеды. Валентин с треском разрядил одну такую торпеду на гладком полигоне собственного ногтя и вместо ожидаемого омерзения испытал злорадное удовольствие.

В прохладном коридоре по дороге в камеру Валентин машинально смотрит в какую-то открытую кормушку и срывается в беспредельную пустоту в поглощающих глаз.

— Кто это? — спрашивает он идущего рядом Афоньку, но коридорный уже закрывает кормушку на ключ.

— Здесь смертники сидят, — говорит Афонька. — Я, когда был на рабочке баландером, носил им еду. Улыбаются. Но улыбки жуткие.

После бани Валентин хотел постираться.

Он никогда не дает стирать своих вещей обиженным, вообще стараясь держаться от них подальше. Брезгливость тут ни при чем.

Теперь Валентину не до стирки. Он ложится ничком на свою шконку, подминает под себя подушку и жадно всасывает лбом прохладу металла.

Валентин и раньше слышал, еще в «столыпине», что эта тюрьма строгая, исполнительная.

Исполнительная, ну и пусть будет исполнительная. Где-то же должны приводиться в исполнение и такие приговоры, коль скоро они существуют. Но что вот так просто можно встретиться взглядом с приговоренным к смерти, он никогда не думал.

Валентин видел приговоренного к расстрелу в кармане «воронка» на этапе. На этапе их можно увидеть, но они едут с суда, и даже те, которые до него и думали о высшей мере, еще толком в нее не верят. После вынесения приговора им придется долго ждать ответа на прошение о помиловании из Верховного суда. Если приговоренный почему-либо не пишет такого прошения, за него все равно из гуманных соображений пишет тюрьма.

Глаза того, в «воронке», были совсем не такие. У того были глаза, а у этого уже не глаза.

Однажды в «столыпине» кто-то рассказал о случае, который произошел в этой тюрьме. Один надзиратель придумал себе развлечение. Он выбрал для этого приговоренного к смертной казни и несколько ночей в свое дежурство пугал его звоном ключей, поднимал стуком открываемой кормушки, доставал чистый лист бумаги и говорил: «Коллегией уголовных дел Верховного суда вам в помиловании отказано». После долгой паузы он весело хохотал: «Не волнуйся.

Спи спокойно. Я пошутил». Приговоренный знал, в какие дни дежурит этот надзиратель, знал, что ночью он его обязательно разбудит, но все равно так же панически вскакивал со своего места, с нечеловеческим напряжением глазных мускулов смотрел на лист бумаги. В этот момент приговоренный, наверное, видел какое-то белое пятно, сердце подсказывало ему, что это бумага, но то, что на ней ничего не написано, он уже не мог различить. В конце концов, ему пришлось помилование. Как бывает в таких случаях, он еще оставался при тюрьме. Его перевели в общую камеру, и, как только открывалась дверь или кормушка, всегда бросался к ней и, если видел того надзирателя, задавал один и тот же вопрос: «Ну зачем ты так пошутил, командир?» Надзиратель рассчитался и уехал в другой город еще до того, как бывший приговоренный этапировался в лагерь. До места помилованный не дошел — на пересылках его сердце остановилось от преждевременной усталости.

Тогда, в середине декабря, Валентин слушал этот рассказ, как анекдот. Сейчас бы он зубами разорвал матрац и заткнул бы уши ватой, начини кто-то такое рассказывать.

Тюремный сторож уговаривал великого Франсуа Вийона покориться судьбе и не писать прошение о помиловании. Через пятьсот лет другой тюремный сторож собственноручно казнил несчастного.

Валентин понимает, что ему не выбраться из этих глаз, которые он только что увидел через кормушку. Он падает в них, как в бездонную пропасть, на лету хватаясь за первые попавшиеся случаи, требующие отмщения, и никак не может долететь до дна, чтобы раз и навсегда объять разумом космос небытия. Те бесспорные аргументы, что этот человек убийца

и насильник, как зыбкие камешки, катятся вниз, лишая его опоры, лишь только он вновь начинает вспоминать эти глаза.

Валентин снова и снова нащупывает лбом место попрохладней.

А может, он видел его в последний раз? Может, его казнят сегодня ночью или завтра на рассвете. Никто в этой камере не знает, когда инструкция предписывает приводить приговор в исполнение. А в той? В той камере знают или нет? Как же он сразу не догадался, ведь в эти глаза уже зачитан отказ о помиловании.

Валентин догадывается, что после этого не сразу ведут на казнь, а выжидают какое-то время для соблюдения формальностей. Именно в это время он встретился с ним взглядом. Он был (или еще есть?!) смуглый, худощавый. До пятидесяти ему, конечно, далеко. Господи, да ему никогда не дожить до пятидесяти. Теперь никогда... Как он ведет себя с надзирателями? Наверное, безропотно-исполнителен. Ведь жизнь его последних минут будет зависеть только от них. В последние минуты между камерой и выстрелом он будет полностью в их руках. Не попадется ли ему какой-нибудь шутник? Как он будет вести себя в эти последние минуты? Зарыдает? Перегрызет себе вены? Или в собственных мыслях за каждые сутки расстрелянный миллион раз, так и не наберется мужества, чтобы самому пойти на свой последний расстрел, и его настойчиво, но без грубости возьмут под руки.

О механизме смертной казни здесь рассказывают почти одинаково. Приговоренному рисуют на лбу зеленкой сплошной кружок и ведут в подвал. Валентин и в «столыпин» слышал, как кричал один старый зек другому, что их общему знакомому намазали зеленкой лоб. В подвале на определенном участке на зеленое пятно сра-

батывает фотореле, и робот; заранее отрегулированный по росту, производит выстрел.

А может, это просто тюремные байки? Может, нет никакого робота и ванны с жидкостью, в которой растворяют труп? Но ведь все равно казнят. Как-то это все равно происходит. То утешение, которое выдумали для себя обыватели, громче всех кричащие, что надо больше к стенке ставить, о ссылке на урановые рудники, здесь вызывает усмешку. Разве только женщины да приравненные к ним воровским и официальным законом малолетки, думающие, что никогда не умрут, способны поверить в это.

Однажды Левченко сказал:

— Люди в своих мыслях расстрел давно отменили. (После суда Валентин его уже не встречал. Где-то он сейчас воюет с молодежью?) — Кто не знает урановых рудников, отправляет туда смертников, а мне пришлось там поработать. Шахты как шахты. Ничего страшного.

Левченко был бродягой, но совсем не тем, каким был Рида. Он ездил по стране не ради самих поездок, а чтобы получить заработать. «Дурак ищет, где заработать, а умный ищет, как заработать», — шутил он. Больше десяти лет Левченко в Зарафшане, а потом в Сибирске добывал уран. Он много рассказывал о том, что раньше там было море и на кусках породы попадались отпечатки рыбешек, ракушек, водорослей.

От двадцатисемкилограммового перфоратора у него искривились локти.

Деньги тогда хорошие платили, но и работа не из легких, хотя далеко не смертельная. Потом стали добывать уран методом выщелачивания, и много шахтеров разъехалось. Левченко с избытком хватало подземного стажа, но возраст не подошел, и он уехал

шабашить в российские колхозы, поближе к семье, которая уже не могла обойтись без шахтерских алиментов.

Больше всего слушателей поразило то, как Левченко успокаивал там свой радикулит. Он ложился в сточную канавку прямо в штреке, и в родоносовой воде боль надолго утихала.

— Не шахта, а прямо санаторий, — сказал тогда Али.

Левченко хотел возразить, нагнать ужаса, но Валентин опередил его:

— Для смертников это действительно был бы санаторий.

В конце прошлого года по тюрьме распространилась веселая новость: Фантомасу дали расстрел. «Ему-то обязательно лоб зеленкой намажут», — однозначно резюмировали камерные знатоки советского права.

Фантомас — начальник треста «Желдорстрой» — действовал не менее дерзко, чем его прототип. Вагоны с кирпичом, цементом, лесом так и шли у него на сторону.

О бывшем начальнике треста говорила вся тюрьма. Предполагали, что Фантомас сидит в камере-показухе с телевизором, холодильником и ковром во весь пол. Валентин слышал, что есть такие камеры специально для показа высоким комиссиям. Слышал и о пресс-хатах, где зеков пытаются до тех пор, пока они не возьмут на себя какое-либо нераскрытое преступление.

ОБХСС не стал считать, сколько дач и гаражей люди построили благодаря Фантомасу. Общий убыток составил немногим больше 900 тысяч.

Невероятная сумма. Валентину трудно даже ее вообразить. Подумать только, почти миллион! Он снова удивился, до чего же некоторые люди мало читают. Если бы Фантомас хоть один разок просмотрел «Золотого теленка», пусть даже через строку, даже через страницу или последние десять

страниц, он бы сразу понял, что такие деньги в Советском Союзе ни к чему. С ними, кроме хлопот, ничего другого не приобретешь...

Валентин засыпает тихо и спокойно. На этот раз его не преследует тот страшный транссексуальный кошмар. Не снится и расстрел. Горячая вода хорошо разогрела молодую кровь, и

та в свою очередь торпедирует застоявшуюся ткань.

Но в самой глубине подсознания, на дне той пропасти, он постоянно чувствует смертельную опасность. Сердце и во сне болит, сдавленное этим предчувствием, будто кто-то подложил его вместо деревяшки под шатающийся шкаф.

Часть вторая

1

«Нигде время не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей».

Валентин натывается на фразу, как на бутылочный осколок в песке летнего пляжа. Ничто, казалось, не предвещало ее присутствия. Откладывает в сторону «Отцов и детей» из тюремной библиотеки. «Говорят,— мысленно передразнивает он.— Теперь уже не скажут, если и говорили.»

Валентину и невдомек, что время бежит скорее там, где живется хуже и бесполовей.

С того дня, как он увидел смертника, прошло двенадцать дней, а ему кажется, не меньше двенадцати месяцев. Срок отмерян, он, как быстро растущий бамбук, входит в организм на манер азиатской казни.

Несколько часов назад наступил очередной понедельник. Административная часть тюрьмы вновь начинает работать в полную силу своих служб и отделов.

Валентина уводят на свидание.

В длинном помещении, отгороженном толстым стеклом, разговаривают в телефонные трубки. Из тюремного коридора вводят заключенных, с улицы — родственников.

Валентин садится напротив матери, отводит в сторону голову — темный проем открытой двери отражается в

стекле — снимает с аппарата трубку. Здороваются.

— Ну как ты тут? — спрашивает мать.

— Ничего, мам, нормально.

Сердце матери екает. Валентин чувствует это даже через стекло.

Ну конечно же, он сказал «мам», и она заподозрила что-то неладное.

— Все хорошо, мам! Все ништяк, мам! — частит стриженный юнец рядом. Но Валентин знает, что сказал «мам» не случайно.

— Я скучаю по тебе, а так все как надо, — как бы объясняет он свое нежное обращение.

Она молчит. Он тоже молча рассматривает ее. Узнает и не узнает. Мать очень изменилась. На суде Валентин ее почти не видел. «Дело» было пустячное, как сказала адвокат-практикантка. И действительно, его с Федотовым окрестили за три часа и с непустячным приговором увезли в КПЗ. От матери тогда приняли сигареты и передачу, но свидания не дали. Был этапный день, и конвой занимался подготовкой к нему.

Она сейчас кого-то напоминает, но кого, он никак не может вспомнить. Этот темный старушечий платок вместо неизменной беретки, седина, раньше скрывавшаяся под хной...

— Ну, как там дома? — прерывает Валентин затянувшуюся паузу.

— Ничего. Потихоньку.

— До завучей еще не дослужилась?

— Я... На пенсию иду.

— Как на пенсию! Ведь тебе еще шесть лет до нее. Кто же тебя отпустит?

— Врачи. Скоро группу дадут.

— Какую группу? Что с тобой?

Валентина пронзает страшная догадка.

Мать поколебалась. Было видно, что она жалеет о сказанном, но теперь уже нельзя не ответить, и она говорит коротко:

— Сердце...

До Валентина только сейчас доходит, что этот темный платок, эта незакрашенная седина не случайны. Что это не специально для тюрьмы, в которую по его представлению и сто лет назад не ходили в красных беретах. Он не уловил в ее ответе даже горчичного зернышка от упрека, но заговорить теперь кажется невозможным.

— Вас здесь не обижают?

Мать косится на край стола, где сержант прослушивает все разговоры.

— На обиженных воду возят, — ласково, как наивной девочке, отвечает сын.

Снова молчание. Разговор не клеится.

— Расскажи что-нибудь про дом.

— Саша ко мне раньше часто ходила. Теперь с каким-то парнем ее вижу. Не будет она, Валя, тебя ждать.

— Я знаю, мама. Мне как-то все равно.

Ему, правда, все равно. Как пришла, так и ушла. Раньше Валентин думал по прибытии на зону расписаться с ней, чтобы раз в полгода можно было переночевать вместе в комнате свиданий, но потом понял, что может жить и без любви.

Сейчас ему смешны те сцены рев-

ности, которые он устраивал. Саше прошлым летом, чуть ли не за волосы вывалакивая ее с танцплощадки. Он делал вид, что любит ее, ревнует, жить без ее цыганских глаз не может. В конце концов он внушил себе надуманное чувство и теперь всю жизнь будет вспоминать его как первую любовь.

Тогда, летом, ни дня не проходило без скандала. Тихого, ядовитого скандала, которого никто вокруг не замечал. Он вспыхивал по любому поводу, но подоплека его всегда была одной и той же.

Еще в самом начале, когда Валентин почувствовал, что она ему нужна, измучась тайной ревностью к ее прошлому, он-таки не выдержал и спросил: когда она успела «пролететь».

— В пятнадцать лет, — легкомысленно ответила Саша. — Жаль, конечно, что до свадьбы не сбереглась, но замуж я все равно выйду.

И тогда тайная ревность к прошлому стала маскироваться под ревность к настоящему. Валентина уже не могла обмануть ни одна ссора, особенно по пустякам, между всеми влюбленными мира. Кому-кому, а ему-то, как он считал, всегда известна истинная причина. Эти терзания изнурили его до умопомрачения. Он надеялся только на призыв в армию. Служба все расставит по своим местам. Он до девятого класса сетовал на то, что ему всего двух недель не хватило, чтобы пойти в школу с семи лет. Потом догадался, что Петровна специально задержала его дома еще на год. Она рассчитала, что после школы он сразу пойдет в армию.

Валентин пил водку с Федотовым и закусывал колбасой в чужой квартире с военкоматовской повесткой в кармане.

— Когда в лагерь повезут? Известно? — прерывает мать его мысли.

— Да черт его знает. По закону

тебе должны сообщить, когда и куда.

— Не говори так.

— Как?

— Черта не поминай. Нехорошо это.

Валентин не может скрыть удивления.

— Ты что, и в бога веришь?

— Да, сынок, теперь стала верить. Бог накажет, Бог простит.

Валентин потрясен. Как же она решилась партбилет сдать? Хотя, как она теперь может о чем-то говорить или просто присутствовать на собраниях, когда ее сын сидит в тюрьме...

Валентин еще не знает, что на его имя пришло поздравление с первым местом, которое заняло его сочинение, и она упала с сердечным приступом прямо на лестничной площадке возле почтовых ящиков.

Бог тоже уголовник. Неисправимый взяточник. Крохобор. На копеечные свечи разменивается. Но матери он, конечно, этого не скажет.

— Бог-то простит, да люди не прощают,— задумчиво произносит Валентин.

— И люди простят, когда в своей душе дьявола переборят.

Валентин вспоминает старого судью, ехидного, зубоскалистого, и с иронией замечает:

— Да-а-а, много они напрощали.

Потом спрашивает:

— Поди и в церковь ходишь?

— Хожу,— отвечает мать.— Вдвоем с тетей Верой.

— С Федотихой, что ли?

— Да, с ней. Я сейчас и живу почти у нее или она у меня. Вдвоем легче.

— И молитесь, наверное, вместе...

Он пытается представить, как мать с такой же сухощавой, низенькой Федотихой кладут поклоны, как девочки, играющие в церковь, но у него ничего не получается. Он не может вспомнить, чтоб хоть раз в жизни видел, как дети играют в церковь.

— Я и тебе молитву привезла. Ее легко запомнить.

И вдруг, скороговоркой:

— Матерь Божья, пресвятая Богородица, спаси, сохрани и помилуй раба своего. Аминь.

Валентин морщится, как будто услышал пошлость. Ему кажется, что молитва здесь звучит так же, как в церкви звучала бы фея.

— Видимо,— употребляет он Пашино словечко,— что-то одно в этой молитве лишнее. Или спаси, или сохрани. Ведь это одно и то же.

Мать возражает. Но не так, как возражала раньше на подобные замечания. Валентин теперь не слышит привычных ему с детства «синонимический ряд», «лексико-семантические варианты» и всякого такого. Она просто говорит: «Прежде чем сохранить, сначала надо спасти»,—и он вновь узнает, что души людей в когтях дьявола.

Валентину неприятен этот разговор. Он спешит переменить тему:

— Кстати, завтра восьмое марта. Поздравляю тебя.

— Спасибо, сынок.

Валентин чувствует, насколько он уже отвык от свободы. Даже эта невинная материнская благодарность режет ухо.

Он не находит, о чем еще спросить. До конца свидания остается четыре минуты. Валентин боится, что мать вернется к неприятной теме.

— Можешь, куда-нибудь уехать? Ты об этом не думала?

— Думала. Нет, никуда я не поеду. Старое дерево в новую землю не пересаживать. Да и где нас ждут? Кому мы нужны? С кем век прожила, те и похоронят.

Мать бросает взгляд на стену, где висят вокзальные часы. Достает из сумки толстую книгу. Говорит ласково, но твердо, как в детстве, когда заставляла пить лекарство:

— Вот, Святое писание тебе привезла. Не берут. Говорят, передача после суда принята, а следующая — через полсрока. Но ничего. Тебе еще бандероль положена.

Валентин хмыкает. Ему подумалось, что мать от одной религии ушла в другую, все так же не замечая реальной жизни.

— Ты мне лучше теплые кальсоны вышли. Не костюм полностью, а только кальсоны. Бандероль до килограмма должна быть, а если весь комплект хоть немного больше потянет, его не отдадут совсем.

— Да, конечно, сынок, конечно. Они тебе нужней будут. Но почему Святое писание нельзя просто так передать? Разве в нем что-то плохое написано?

— Эх, мама, мама, ты же сама говоришь, что сейчас дьявол мазу держит. Так разве он допустит. Манифест Коммунистической партии, наверное, приняли бы.

Свидание подходит к концу. Валентин говорит слова прощания, передает на волю приветы, мелкие просьбы. Он видит, что мать хочет что-то сказать, но не решается. Украдкой бросает взгляды на сержанта (а вдруг отвлечется), смущается. Наконец решилась:

— Сынок...

Валентин замолкает. Он должен дать ей сказать все. Теперь они увидятся не скоро.

Мать чего-то стыдится, но смотрит прямо.

— ...ты здесь только в попку не балуйся.

Валентин фыркает.

— Ты что, мам. Не слушай ты эту Федотиху. Не собирай никаких сплетен. Болтаете, чего не знаете..

— Хорошо, сынок, не буду. Я и не разговариваю ни с кем... Ну, до свидания. С Богом. Я буду молиться за тебя.

Последние слова она говорит уже не в трубку и крестит его спину в дверном проеме вместе со спиной наблюдателя.

2

Валентин недолго остается в камере наедине со своими мыслями. Он решает, что когда освободится, мать перестанет верить в бога. Может, он сам уедет куда-нибудь в Сибирь. Да, обязательно уедет. Дома в поселке жизни не будет.

Валентин начинает вспоминать, как прошлой весной на Пасху они ходили на хутор в церковь. Поселковая молодежь каждую весну на это время объединялась, чтобы подраться с хуторскими.

Валентин тогда пошел в первый раз. Церковная служба его неприятно поразила. Она его не сместила. Он молча негодовал. Скопился на Федота. Тот стоял умиленный, зря, что не бился лбом об пол вместе со старухами. Священник в очках показался ненастоящим. Как будто это Анатолий Иванович переоделся в рясу, чтобы и здесь читать нравоучения. Сытость и довольство с его лица не сошли бы и на сороковой день удаления в пустыню. Лиши его там не только меда, но и порцию акрид урежь наполовину, поп и тогда вряд ли погрузстнеет. Он всегда знает, как и зачем жить на этом свете.

Валентин выскочил к своим, кучковавшимся на паперти. Валет, в двадцать три года успевший отмотать два срока, протянул ему стакан вина.

Валентин уже не боялся Федота. Он как-то нарочно приравнивал его к своей Цыганке и от души пнул туда, откуда каждый день растет и тут же отпадает нечто похожее на хвост. Федот не мог не кинуться, и Валентин на глазах у всей танцплощадки добил его ногами. Они были пьяны все

трое. На следующий день Валентин извинился, и все пошло дальше по хорошему набитой колее.

Так вот, он еще толком ничего не вспомнил об этой поножовщине на церковной паперти, после которой у него на всю жизнь остался выпуклый шов на нижней губе, как его с Золотым вызвали в коридор.

Там ждет тюремный кинолог. А проще, Гришка-Собаковод. Низкорослый. В мундире с ремнями. Длинные черные волосы прямо свисают на китель без погон. Удивительно, как ему до сих пор не дали кличку Махно. Если бы еще маузер, точно бы дали.

Он уводит их с собой на питомник и заставляет сделать уборку служебного помещения.

Под раздражающее собачье уханье из вольер Валентин с Золотым моют полы, выносят мусорный бачок с окурками, пустыми бутылками, консервными банками. Переворачивают на кучу собачьих нечистот.

Золотой выдергивает за рваную тесемку из груды бутылок затертый лифчик. Встряхивает. Выворачивает наизнанку. Он оказывается сравнительно чистым. Близоруко подносит к глазам. Валентин сплевывает и уносит бачок.

Стоя коленями на старом диване, он наблюдает за Золотым в окно служебки из-за резной спинки с зеркалом.

Золотой подносит лифчик еще ближе. Теперь не остается сомнения, что он исследует этот малознакомый предмет своим веснушчатым носом.

Валентин недолюбливает Золотого. Он прощает Ваське все их подлянки, а Золотому помнит каждую мелочь. Валентин может поднять его в камере на смех, но сейчас ему почему-то Золотого жаль.

Золотой, Валера Копытин, даже чуточку младше Валентина. Ему исполнилось восемнадцать незадолго до суда. С шестью годами срока и почти

со стотысячным иском он ни о чем не думает. Валера залез ночью в магазин своего районного городишка по пьянке и утащил товара на сто двадцать рублей: часы, плащ и туфли. На картонке обувного отдела он забыл тлеющую сигарету, и магазин сгорел дотла.

Собаковод дает им по жесткой тряпке: Валентину серую, а Золотому в мелкосортный горошек и заставляет дразнить собак.

В каждую ячейку вольерной решетки может свободно пролететь теннисный мяч, и овчарки играючи хватают тряпки за концы. Это молодняк. Кончики их ушей стоят нетвердо и на бегу болтаются, как у поросят.

Григория игра не устраивает. Он вырывает у Валентина из рук тряпку и наотмашь хлещет по решетке, приговаривая:

— Вот как надо! Вот как! Вот как! Золотой с Валентином принимаются стегать изо всей силы. Собаки свирепеют, кроваво слюнявят ржавые прутья.

Григорий уходит к себе в служебку. Золотой незаметно завязывает в угол тряпки камешек с воробьиное яйцо и целит этим узелком по собачьим глазам.

Валентину вспоминается, как один раз их набивали в «воронки». Этап пришел большой, а «воронков» тюрьма послала мало. Когда в каждый затолкнули самое немислимое число зеков, и они застыли там сплошной обморочной массой, к задним подпустили собак. Немецкие овчарки страшнее затворов клацали зубами у самых ягодиц, и каждый «воронок» побивал все рекорды по вместимости из книги Гиннеса. Две овчарки так рассвирепели, что сцепились между собой, и зеки злорадно взревели...

Валентину приходит в голову, что все люди, как те же овчарки. Вот так и они, смолоду натасканные на опре-

деленный запах, как эти собаки, всю жизнь рвут зубами ненавистный дух, от кого бы он ни исходил.

— Не дьявол в людях, а сторожевой пес! — кричит Валентин, но непрерывный лай со всех сторон заглушает его слова...

Он подходит к Золотому и объясняет, что эти твари тем потом будут злее, чем больше он им сделает сейчас.

— Да и хрен с ними! — в упоении кричит Золотой. — Не я, так другой раздрочит. Зато душу отведу.

Золотой ослабляет внимание, и одна собака удачно захватывает узелок зубами и утаскивает тряпку в вольер.

Собаковод не дает ему другую. Он уговасывает старательного Золотого сигаретой и отводит их в камеру.

3

На следующий день после Валентинова свидания вместе с газетой в кормушку влетает открытка. Обычно первым чуть ли не на лету газету подхватывает Афонька и сразу прочитывает до последней точки.

В камере не перестают смеяться над Афонькиной любознательностью. На воле, дескать, и в отхожем месте газету забывал, а тут, гляди-кося, грамотным стал.

Газета в хате — вещь незаменимая. Из нее разве что киселя не варят. Ею убивают изжогу, пережевывая чистую от шрифта кромку. Ею убивают зубную боль, сжигая ту же кромку на гладкой стеклянной, а чаще металлической поверхности и собирая на ватку желтоватый яд по краям. Ею убивают запах из параша, сжигая скомканный клоч над поверхностью. Ею морально убивают обиженного, вырезая узкую полоску по диагонали и заставляя его читать после отбоя непонятные обрывки фраз в обстановке сосредоточенного внимания.

Афанасьев Афанасий Афанасьевич, он же Афонька, воспитался в детдоме. Судя по ФИО, подкидыш. Ему дали два года общего режима за хулиганство в общественном транспорте. Кто-нибудь хоть раз в день да подтрунивает над общественно опасным преступником. Афонька в городском автобусе испортил воздух и, как гласит приговор, «...в ответ на замечания пассажиров ехидно улыбался».

— Надо было смущенно улыбаться, — говорит какой-либо камерный остряк, — тогда бы ты не представлял угрозу для общества.

Гоп-Стоп тоже один раз не удержался от замечания:

— До Васьки тебе, Афонька, конечно, далеко. Про Морячка я вообще базар не веду. Морячок, посмотри получше копию своего приговора, может, там два года расстрела написано.

— Если и дальше так пойдет, — сказал тогда Валентин, — лет через десять на свободе ни одного преступника не останется.

В ответ Гоп-Стоп зло усмехнулся:

— Не останется тех, кто мешает настоящим преступникам дышать свежим воздухом. Да и то навряд ли. Для них автобусы западло. Скорее всего через десять лет все просто задохнутся от Афонек.

«Да, задохнутся, — решил после слов Гоп-Стопа Валентин, — общество задохнется от беспощадных Афонькиных пальцев на своем горле. Ведь в первый раз сюда попадают не обязательно все воры или хулиганы, а многие только укравшие или нахулиганившие. Отсюда же они точно выходят ворами и хулиганами».

Кто сидел в тюрьме, тот не удивится таким разговорам. Зеки — самая патристическая прослойка населения.

Сейчас Афонька не спешит сесть за стол с газетой. Он внимательно рассматривает открытку, как будто ни разу в жизни их не видел. Открытки

в самом деле реже другой корреспонденции попадают в камеры, и эта, очевидно, нарочно доставлена адресату.

— А кто у нас такой — Уланец Алексей Семенович? — спрашивает Афонька, ударяя фамилию на второй слог.

Золотой показывает большим пальцем под шконки.

— Эй, каплун, вылезай, — Афонька обрадованно стучит ногой в стойку. — Мы тебя сейчас чествовать будем.

— Дай девахе отдохнуть после бессонной ночи, — хихикает Нарком.

— Вы че, в натуре, забыли, какой сегодня день?

— Точно! Ха-ха! Аленка, вылазы!

Обиженный, упираясь локтями в пол, по-пластунски, как в тыл врага, выбирается из своего убежища.

Золотой энергично перехватывает у Афоньки инициативу. Он откидывает занавес, ставит обиженного на бетонное основание унитаза и приговаривает что-то говорить.

— Стой, — встречает Афонька, поднимая вверх руку с открыткой. — Сперва нужно зачитать ксиву.

Все подтягиваются ближе. Садятся на нижнюю шконку напротив толчка. Валентин и Гоп-Стоп остаются на своих местах. При желании Валентин и так может все увидеть. Гоп-Стопа эта возня просто не интересует. После суда, который крестил его в середине февраля, он очень редко обретает состояние бодрого духа. Ему втерли семь лет строгой по сто сорок шестой.

— Дорогой Леша, — начинает читать Афонька. — Нет. Не так, — перебивает он сам себя. — Дорогая Лена! Сердечно поздравляем тебя с Восьмым марта. Желаем крепкого здоровья и скорейшего освобождения. Твои родные. — Афонька протягивает открытку. Обиженный берет ее, не отводя глаз от струящейся воды под ногами.

Мы присоединяемся к этим поздравлениям.

Золотой хлопает в ладоши. Его поддерживают остальные. Нарком вскакивает, хватая веник и восклицает:

— А сейчас состоится праздничный концерт! Так. Держи гитару, — он сует обиженному веник, — и сбздай нам страдания.

— Стоп-стоп-стоп.

Васька достает из-под своего матраца носовой платок, которым остужал воспаленных кочегаров, и подбегает к обиженному:

— Ну-ка, подними личико. Умыть бы тебя ради праздничка.

Васька домиком повязывает ему платок. Домика, правда, не получается. После суда, который решил, что за три года в колонии общего режима гражданин Уланец совершенно исправится, тот еще не стрижен, и Васька кое-как натягивает узелок.

— Да, не те нынче времена, — вздыхает он, пятясь к шконке со зрителями. — Теперь обиженные на зонах отдельно живут. А раньше, помню, идешь с работы, а он из барака тебе навстречу выбегает. Губки накрашены, в чулочках фильдеперсовых. Чмок тебя в щечку...

Валентина передернуло.

Васька хотел было и дальше распространиться на любимую тему лагерного конкубината, но Афонька его прерывает:

— Лена! Народ ждет. Давай, запевай.

Обиженный стоит не шелохнувшись, держа веник на манер гитары.

Афоньке поддакивают остальные:

— Ну, ты что, русский язык не понимаешь? Давай, делай.

Обиженный только русский язык и понимает, но, видно, он на нем не хочет разговаривать.

Наконец открытка, как медиатор, заскребла просяные стебельки, и он запекает уныло и монотонно, сначала

о своей милке, а потом, к всеобщей радости, и о миленке.

Золотого и Мишаню такой репертуар не устраивает. Они уединяются за столом и на отдельных листках вспоминают тюремные песни. Золотой потому, что не может сидеть сложа руки. Он всегда что-то делает, придумывает. Кто-то захочет наколоть себе монастырь во всю спину, Золотой тут как тут. На двойном тетрадном листке нарисует шариковой ручкой собор, часовенки, ворота, намылит заказчику спину, четко отпечатает рисунок, и закипит работа. Кто-то захочет побриться, опять же лучше Золотого никто этого не сделает. Он ловко смастерит из спичечного коробка станок, направит лезвие на ладошке, и после клиент говорит, что острее бритвы он еще не видел. Сам Золотой, как и Валентин, пока не бреется. Мишаня же считает себя причастным к литературе. Недавно хату обошел сочиненный им порнографический рассказ. Валентин тоже полюбостовал. Там повествовалось о банальном кровосмешении дяди с племянницей. Местами образно, но очень безграмотно.

Золотой подсказывает с листками к обиженному и машет на него руками, давая понять, что дивертисмент окончен.

Обиженный начинает петь с листков так же тягуче и заунывно:

Мама, милая мама,
Я тебя не ругаю,
Что меня ты так рано
В Дэвэка отдала,
Я сегодня с друзьями
В жизнь иную вступаю,
Видно, ты по-другому
Поступить не могла.

Он переводит дыхание, топчется на месте и продолжает еще тоскливей:

В Дэвэка не ласкали,
А за шиворот брали,
Заставляли ночами
Все полы натирать,

А порою ногами
Нас менты избивали —
Так учили наукам,
Как людей уважать.

Валентин до хруста прикусывает шрам. Песня пронзает в самое сердце. Он улавливает, что мальчишки из детской воспитательной колонии ни на что не жалуются. Это кажется ему самым страшным.

Золотой исподволь высматривает, что Гоп-Стоп еще больше помрачнел, и снова машет руками:

— Давай следующую. Да повеселей, повеселей! Потопай ногами, плечами потряси.

Обиженный меняет листок и запекает другую, все так же не поднимая глаз.

Валентину кажется, что Леха как раз и должен смотреть в глаза всем остальным, а они должны свои прятать. Но тут на память приходит Тоня. Он никогда глаз не отводил, и его считали самым наглым из всех обиженных.

Вторая песня звучит пошлым диссонансом. Лена успевает промямлить только один куплет:

Канает мент, насадкой лавирует,
Где щипачи втыкают налегке.
Он хочет их захрямзять, но менжует:
«Ах, как бы шнифт не выкололи мне».

Гоп-Стоп сгоняет его с толчка: «На место, выжлец!» — и завешивает за собой одеяло.

Обиженный бросает веник, стаскивает с головы платок и юркает под шконки.

Валентин чувствует, что его нервы закручены до предела. Так в детстве закручивал он винт резиномотора, когда увлекался авиамоделированием. Он сам теперь, как слабый планер, склеенный из хрупких реек и папиросной бумаги. Или винт вырвется из неумолимых рук, и планер, может

быть, сумеет улететь далеко, или не выдержит резина нервов.

Он понял: выбор вообще-то сделан. Пусть непроизвольно, неосознанно, но все-таки сделан. Выбор унижать или быть униженным самому. Третьего не дано. Третье — это добровольная смерть. Но нет выбора между унижением и смертью. Унижения начинаются так незаметно, а срок относительно так мал, что, кажется, можно бы и перетерпеть ради будущей свободы.

Обретаемая ли после этого настоящая свобода, происходит ли катарсис, Валентин об этом еще не думал.

Эти унижения происходят как бы вовсе не с тобой, а с кем-то поблизости. Однако они происходят с твоего молчаливого согласия, как бы испытывая и твое терпение и готовность. Восстать против — боже тебя упаси. Бог хранит терпеливых. Будь ты самим Дзержинским, которого до революции боялись даже уголовники на пересылках (хороши были уголовники), в одну минуту ты узнаешь, что человек способен не только закрыть собой амбразуру или поцеловать руку женщине. Или унижай сам, или терпи от других. Да и не с высот Олимпа спускается человек в эту систему. Психологически он ко многому уже готов, даже сам того не подозревая. Он весело глядит на какого-нибудь новоявленного Перегринна, мастурбирующего у всех на глазах, и не понимает, что уже готов к дальнейшим унижениям.

Есть тысяча способов, чтобы унижить человека и только один, чтобы его возвысить, а именно: не унижать. Никого, никогда и ни при каких обстоятельствах.

Валентин понимает это больше душой, чем рассудком. Кажется, ничто не мешает ему слиться с окружающей обстановкой, но трепетное сердце подсказывает, что этого делать нельзя.

Оно толкает и толкает тяжелую кровь в мозг, и Валентин день ото дня чувствует себя все более подавленным.

4

Если в конце года перегружается следственный изолятор, то в начале следующего перегружены камеры для осужденных. Но с приходом весны тюрьма начинает работать в обычном режиме, разгружаясь за счет лагерей.

Из сужденки, где содержится Валентин, на этап ушли Никишин и Уланец. В отстойнике их пути разойдутся, быть может, навсегда. И забудет Юра Никишин Лешу Уланца. Сколько у него было таких Леш, всех не упомянуть. Забудет напрочь и ни за что не узнает, если судьба сведет их вдруг на воле.

Может быть, устанет когда-нибудь вор в законе Юра Гоп-Стоп питать своей кровью лагерных вшей и своим мозгом — бредовые идеи химер, затеет переписку с какой-либо деревенской заочницей и приедет отдохнуть к ней на хутор после очередного срока. И найдут его случайно где-нибудь в балке, полустлелвшего, пригвожденного к земле крестьянскими вилами, украденными со двора хуторянина Уланца Алексея Семеновича неустановленными лицами. И дойдет слух до Валентина, что зеки еще одного проиграли в карты. Тогда усмехнется Валентин понимающе, со снисхождением, как любой другой арестант, знающий истинную причину беспричинных убийств среди уголовников. И в который раз повторит излюбленную тюремной фразу, что преступный мир сам себя изживет.

Место Гоп-Стопа не пустовало и минуты. Только он снял свой матрац, как блатной угол тут же занял Нарком. Но и шконка Наркома недолго была свободной. На нее было перебрался Золотой, но к вечеру в каме-

ру бросили деда на скрипучем протезе вместо ноги, и Золотому опять пришлось перейти наверх.

Всем понравилось, как дед вошел в камеру и сказал:

— Здравствуй, Народ!

Он так именно и сказал: Народ.

Такого дремучего старика Валентин в тюрьме видит впервые. Лет семьдесят ему наверняка. Но дремучий не потому, что очень старый, насчет этого дед держится бодро, а потому, что очень космат бровями и небритыми щеками. Седые волосы торчат даже из ушей.

Он попал в тюрьму после суда. Аварийщик с тремя пасками на ушах.

Дед сетует, что унитаз неудобен для его протеза, и Валентин по-доброму улыбается.

— Машину-то не отобрали? — интересуется Афонька, когда узнает, что по суду обвиняемого лишили права управления автотранспортом.

— Да где им, соплякам, — хорохорится дед Евген (так его стали называть с первых минут знакомства). — Они мне ее не давали.

Машину деду выделил военкомат как инвалиду войны.

— Быстро же ты, Евген, Берию за был, — говорит Васька, — он бы у тебя за такие слова не только машину отобрал.

— И где сейчас твой «москвиченок», дома стоит? — не отстаёт Афонька.

— Продал. Зачем он мне теперь. Может, бабка выкупит меня отсюда.

— Одного покалечил, другую убил. Теперь машина без надобности, — констатирует Нарком.

В камере уже все ознакомились с копией дедова приговора, в котором говорится, что, не справившись с управлением, он совершил наезд на мотоцикл. Семнадцатилетний мотоциклист остался без ноги, а его семнадца-

тилетняя же спутница скончалась в больнице.

Его стали спрашивать, какую ногу потерял мотоциклист, и, выяснив, что тоже левую, осыпали остротами.

Валентин молча радуется за деда, что тот во время следствия находился под распиской о невыезде. Дед и сам, наверное, этому рад. Наверное, не одна запчасть от его машины ушла на базар за эту поблажку.

Перед отбоем, которому не очень-то подчинялись, Валентин подсаживается к нему, угощает сигаретой и расспрашивает о том, чего днем никто категорически слушать не захотел.

Дед Евген оказался словоохотливым. Он много и подробно рассказывает о своих боевых наградах, о боях, о ранениях.

Валентину приятно сидеть с ним рядом. Дед всего три-четыре дня как из дому, и от него еще пахнет свободой. Валентин почти не слушает. Ему надоели эти героические затверженные рассказы еще в школе, когда к ним приглашали фронтовиков. Анатолий Иванович про войну тоже часто рассказывал, а вот про концлагерь так и не рассказывал. Валентин теперь догадывается, почему. Лагерь, он всегда лагерь. Даже концентрационный. Еще ни одного человека не похвалили за то, что он туда попал. Валентин силится представить, как выглядел бы орден за мужество в изуверских застенках, но, кроме вышек и колючей проволоки, ничего не идет в голову.

Дед Евген ему совсем не мешает, а он деду тем более. Валентин нюхает домашний уют и мечтает, а рассказчик рад вниманию и все талдычит и талдычит, настойчиво вбирая в косматые ноздри камерную атмосферу.

Наконец Валентин спохватывается, что с этапа деду надо отдохнуть, и оставляет его в покое.

Среди ночи Валентин просыпается от непонятого шума. Ему почудилось, что по коридору приближается электричка. Он подскакивает и видит: Золотой тормозит храпящего деда Евгена и предлагает ему лечь на другой бок.

— Третий раз уже поднимаюсь,— возмущается он.

— А ты ему «самосвал» организуешь,— советует Нарком.

Валентин окончательно включается в окружающую обстановку. В хате, кроме Васьки и Мишани, никто не спит.

Афонька через плечо кивает на черный протез с металлическим механизмом суставов, стоящий у изголовья:

— Лучше «гитару».

«Велосипед», конечно, отпадает.

Когда Валентин спал, в камере и свистели, и звали кошку, и опробовали еще несколько народных бесконтактных способов против храпа.

Пока шумно обсуждают, что лучше устроить, чтоб было наверняка, раз и навсегда, дед Евгений снова отправляет свою ревущую электричку из тоннеля открытого рта.

Он до подбородка накрыт серым одеялом с белой полоской по узким краям. На одной шариковой ручкой написано «лыжи», но дед этот край одеяла не догадался пустить в ноги.

Афонька замечает, что слово «лыжи» очень легко исправить на слово лыжа. Все смеются.

Золотой без церемоний предосторожности вставляет деду Евгению по клочку газеты между пальцами правой руки, свисающей почти до пола. Просит огонька. Ловит на лету коробок спичек, брошенный Наркомом.

По закону природы пламя движется вверх быстрее, чем вниз, и устроители зрелища лишены самых смешных его моментов, когда огонь медленно подбирается к коже.

Золотой едва успевает заскочить на свое место, а дед Евгений уже вовсю трясет горячей рукой, сбив протез и обожженную кожу. Он запутывается в одеяле, падает на пол и только тогда догадывается, что произошло.

С большим трудом садится на шконку, цепляясь левой рукой то за лежанку, то за стояки. При помощи той же здоровой руки прикрепляет протез, долго мучаясь, поднимая его с пола, ковыляет к раковине. Потихоньку умывается, за всхлипами воды пряча слезы.

В камере притворяются спящими.

Валентин и сам готов заплакать, как плачет один ребенок при появлении слез на глазах другого. Дед, наверное, думает, что и он участвовал в этом мероприятии по профилактике храпения.

С утра все ведут себя так, будто ничего не произошло. Золотой одалживает у деда двойной тетрадный листок.

Валентин вскипает. У него такое ощущение, будто на суде его заставили выпить цикуту. Яд сначала все прочнее сковывал движения и вот теперь подобрался к сердцу. Валентин задумывает сегодня же подловить Золотого.

Дистрофик подлый. Такого грохнуть — одно удовольствие. Если только никто за него не подпишется. Да, кажется, здесь таких нет. Гоп-Стоп ушел; Васька смолчит. Он с Золотым вроде кентуется, но такие кенты до поры до времени. Наркоша пойдет за Мишаней.

На Мишаню Валентин возлагал самую большую надежду. Этого спокойного уравновешенного силача и Гоп-Стоп уважал. Он, конечно, человек недалекий, да кто здесь вообще далекий. Валентин лучше всех сказал о Мишанином рассказе, над которым тот трудился почти целый день. Он не стал выуживать из него корявых

блех орфографии и грамматики, а указал на оригинальную образность и свободное владение темой. И еще он сказал, что русскую литературу в основном делали здоровые и крепкие мужчины.

После завтрака Валентин притворился спящим. Расслабил лицо, положил локоть на лоб.

Золотому только этого и надо. Он отодвигает тетрадный листок, на котором что-то изобретал, и приступает к занятию поинтересней.

Наливает полкружки воды. Быстрыми движениями, в которых угадывается навык мастера, хитрым способом привязывает к кружке веревочку, а саму кружку — к верхней шконке над Валентином. Теперь ему не требуется ничьей посторонней помощи. Он со знанием дела протирает дно, чтоб случайно с него не капнуло, где зубами, где головой поддерживает, придавливает. Последнюю операцию, закручивание приспособления, выполняет не торопясь, основательно. Потом опускает закрутыш и торопится к своему листку.

Сейчас «самосвал» раскрутится, кружка с водой опрокинется, жертва с мокрым лицом вскочит, аллюминий звякнет о макушку, и все засмеются. Но на этот раз Валентин не позволяет ему разгрузиться. Из-под руки он видел приближающиеся ноги Золотого. Теперь они быстро удаляются. Валентин ловит кружку двумя руками. Быстро вскочив, он выплескивает из нее вслед Золотому. Рывком сдергивает ее пустую с привязи, ныряет ногами в ботинки.

— Ах ты, профессор недорезанный, — визжит Золотой и, смахнув с головы ладонью воду, с руганью идет на Валентина.

Валентин возбужден не меньше, но он обращает внимание, что Золотой за словами следит, не выкрикивает тех ругательств, за которые здесь почти

любой вправе разmozжить голову. Это зековское «фильтруй базар» находит понимание и у администрации, которая в нарушении заповеди «не оскорби», в свое время упущенной престарелым Моисеем, усматривает справедливый мотив для мордобоя.

В хате отрываются от своих дел, улыбаются, радуясь незапланированному развлечению.

Золотой прыгает, как тарантул, и оба они падают на пол.

Валентин чувствует, что пальцы Золотого все сильнее сжимают его глотку. Голова начинает болеть так, как в детстве, когда он упал на льду. Он понял, что не сможет разжать цепких пальцев, что удары кулаками в бока только удваивают силу жима. «Что же ты, Мишаня», — пульсируют виски. Но вдруг в Валентине проявляется опыт этой жизни, которого он так старался не набраться. Двумя растопыренными пальцами он из последних сил добирается до глаз Золотого где-то у себя под мышкой и надавливает на них, как только может.

Миллионы пузырьков свежего воздуха, да самого свежайшего, приятно покалывая, лопаются в горле. Он слышит вопли Золотого и убирает пальцы. Садится на шконку. Голову тянет вниз. Теперь Валентин действительно поспал бы.

— Вотри ему, Морячок, чтоб все шесть лет помнил, — говорит Мишаня.

— Хуже теперь не вотрешь, — хрипит Валентин.

Становится вдруг досадней всего, что он не сказал этому тюремному графоману все, что о нем думал.

Сознание медленно возвращается. Дышать нечем. Смрад камеры позывает на тошноту. Валентин преклоняет голову на подушку. То ли спит, то ли бредит. «Долго тлело, да быстро вспыхнуло», — крутится в мозгу единственная фраза, как заевшая пластинка.

Сколько времени он лежал, Валентин не знает, но когда приходит в себя, слышит, как хает его Золотой, под веселые смешки вербуя сторонников. Валентин не догадывается, что притворяться спящим не стоит. Если бы он встал, Золотой сконфуженно замолчал бы.

Лязгает кормушка, и коридорная, про которую Васька как-то сказал, что напишет кассационную жалобу, если ему вдруг присудят с ней переспать, кричит в камеру:

— Копытин, Скородумов, в оперчасть!

Валентин украдкой бросает взгляд на Золотого. У того глаза, как только что удаленные железы.

«Если бы коридорная заметила потасовку, она бы враз шумнула корпусному», — думает Валентин по дороге к куму. Он знает, что у корпусного для таких случаев есть специальная бригада «веселые ребята», которые быстро наводят порядок. В тюрьме еще не улеглись страсти после того, как «веселые ребята» забили до смерти киянками молодого зека, через кормушку любезничавшего вечером с хорошенькой надзирательницей.

Подкумок, заместитель кума, в звании старшего лейтенанта, не стал играть с ними в прятки. Да они и сами обо всем догадались. Вот она, тряпка в горошек с завязанным в нее камешком, лежит на столе, а в углу сидит угрюмый собаковод.

— Ну что, в карцер оба пойдете? — спрашивает старлей, кивая на такой с виду безобидный предмет диверсии.

Зеки, а за ними, конечно, и администрация зовут подкумка Додиком за его щегольский вид: приталенный китель и зауженные брюки.

— Мне в карцер нельзя, — бурчит Золотой. — У меня давление глазного дна.

— Ничего, полумрак как раз будет на пользу.

Додик не удивился ни красноте глаз, ни синеве пухлого горла своих подопечных. Валентин с Золотым тоже не удивляются, что Додик не удивился. Всем известно, не успеет у кого-нибудь в камере урчание из живота наружу вырваться, а в оперчасти уже слышно.

— Я пойду...

Валентин, преодолевая боль, сглатывает слюну.

Додик ослабляется:

— Так это ты изобрел на собачьи головы?

— Рыжий придумал, — бросает из угла кинолог.

Рука подкумка еле заметно дергается. Он хотел было остановить собаководов, но понял, что задуманный их психологический этюд похерен.

Отпустив Валентина в камеру, Додик принимается выписывать на Золотого постановление.

В хате Валентин рассказывает, за что закрыли Золотого, и все сходится на том, что карцер — это еще побожески.

Про то, что он хотел взять все на себя, Валентин рассказывать не стал.

А карцер сейчас был бы очень кстати. Лучше физические мучения в одиночку, чем смотреть на эти рожи. И черт с ним, со взысканием. Пусть он не вписался в эту жизнь, но если реагировать на нее только по закону условных рефлексов, то недолго оскопиниться безвозвратно.

Ни с того ни с сего на память опять приходит та поножовщина на паперти. Федот. Валет. Другие хозяйские кенты. Рядом с ними, конечно, уверенней себя чувствуешь, но ведь тогда и некоторым старым богомолкам под горячую руку перепало.

Пасха уже не за горами. Поселковая молодежь снова пойдет в церковь стакнуться с хуторскими. А мать с Федотихой пойдут молиться...

Валентина выдёргивают на этап, когда Золотого еще нет из карцера. Правда, сам Валентин ничего к нему не имеет. Какая разница, вернулся или не вернулся. Он готов держать ответ за этот случай перед любой сходкой.

Вместе с ним на этап идут Мишаня с Наркомом и Васька.

Их маршруты не совпадают. Валентин не имеет к своей статье прицепа, и его отправляют по другой дороге. У Васьки, Наркома и Мишани, кроме основных статей, есть шестьдесят вторая, которую пристегивают в том случае, если подсудимый признан алко-голиком или наркоманом. Васька к тому же пойдет на строгий режим.

Маршруты у всех разные, но способ преодоления одинаков. Отстойник — «воронок» — «столыпин» — транзитка следующей тюрьмы — «воронок» — «столыпин» — транзитка... И так до самой этапки своей зоны.

Количество витков зековской диалектической спирали зависит от близости цели. Чем дальше зона, тем больше витков. Чем больше витков, тем сильнее прогрессирует зек.

Но отстойник, «воронок», «столыпин» сами по себе уже давно не ожесточают Валентина. Хуже всего то, что между ними. В таком положении можно примириться с любыми издевательствами, ведь ты преступник. Но эти тюремные суперсегменты в виде неизбежных проверок-перепроверок, счета-пересчета, посадок-высадок особенно раздражают бездумной тупостью диалектиков в погонах.

Транзитки областной тюрьмы находятся в подвале, который, впрочем, вряд ли чем-либо отличается от чердака.

О том, что в тюрьмах снова разрешили резиновые дубинки, Валентин узнает, только входя в одну из них.

Жарко. Многие раздеты до пояса. На спинах, плечах, боках почти у всех багровые полосы.

В транзитку их вошло около десятка, и Валентин мешкает, не зная, куда бы примоститься. Помещение метров пятнадцать в длину и не более четырех в ширину. Шконки стоят вплотную по одну сторону, перпендикулярно стене. В дальней от двери стороне небольшой деревянный стол у глухой стены.

Кто-то вдруг окликает его с верхнего яруса:

— Валентин, канай сюда!

Валентин узнает Пашу. Вздвигается к нему наверх.

— Какими судьбами? Ты ведь должен уже давно зону топтать.

— Я никому ничего не должен, — отвечает Паша. — Хотел на рабочке весь срок отпариться, да быстро закрыли.

— За что?

— Ксивы носил.

У Валентина тоже была задумка выйти на рабочку. Статья легкая, иска нет. Пиши заявление и оставайся. Но он передумал. На рабочке невозможно не помогать своему брату в камерах. Откажешься — плохой будешь. Не откажешься, поймают и отправят на зону. Так или иначе, дальние зоны не пошлют, но лучше идти туда, минуя рабочку. Известно, как ни старайся, всем не угодишь.

Паша все так же коротко стрижен. На рабочке это делают регулярно. На правильно круглой голове, почти на самой макушке, вздулась опухоль. Он тоже отведал дубинки.

Если бы еще два дня назад психиатром Галль не нашел бы у него ни одной из тридцати семи выпуклостей, которые он полтора года назад насчитал на голове человечества, то теперь бы австрийский врач стал утверждать, что его теория не имеет исключений. И возможно, к концу Па-

шиного срока он обнаружил бы их все тридцать семь на голове данного индивида. Но из них не было бы ни одной шишки терпимости или порядочности, зато в избытке было бы шишек трусости, агрессивности, жестокости.

То, что по тюрьмам начала гулять дубинка,— изрядная новость. Но то, что она погуляла в конкретной транзитке, ничего особенного. Не будь дубинок, погуляли бы киянки. Такое надзиратели не прощают.

Паша рассказал Валентину, что позавчера один поднимающийся с малолетки на взросляк, очевидно, соскучившись по маслу и белому хлебу, выплеснул свой суп через кормушку на баландеров. Баландеры, как и остальные зеки, всегда начеку, они успели пригнуться, и брызги попали на мундир надзирателя.

Пупкари ворвались в тот момент, когда в транзитке только приступали к воспитанию юноши, и потому почти все были в сборе на свободном от мебели пространстве.

Бывший малолетка юркнул под шконки. Другого места для него все равно бы уже не нашлось. Остальные спасались, маневрируя по сплошным двухъярусным стеллажам.

Валентин удручен. Вся процедура наказания еще впереди. Он замечает, что толчок отгорожен от камеры кирпичной перегородкой высотой с полметра, и благодарит судьбу и за эту малость.

Зачинщик массовых беспорядков в подвале тюрьмы окончательно понял, что пощады не будет. Он старается как можно дольше отсидеться в своей цитадели, чтобы неизбежное произошло ценою малой крови.

Несколько неугомимых добровольцев пытаются вышибить его из-под шконок, заарканить петлей, ссученной из его же сидора.

Даже дюжина азиатов, базирующихся у глухой стены, до которой дубинки не достали, попробовали выманить озорника на люди, но были подняты на смех и гордо ретировались.

Приносят ужин, и участники облавы успокаиваются.

В транзитке после каждого приема пищи моют посуду и сдают ее баландерам. Энтузиасты неотвратимости наказания просят оставить одну порцию до утра. Не век же набеодокуривший будет оставаться анахоретом. Надзиратель в ответ многозначительно кивает. Ему неловко за своих сменщиков. Но пострадавшие, сами не сторонники замедленной реакции, зла не держат.

После ужина, к которому у Валентина нашлось кое-что из остатков передачи, они с Пашей с наслаждением закуривают, сидя на его шконке потурецки. Валентину бросается в глаза, что Паша теперь не тот, каким был тогда в отстойнике. За неполных четыре месяца он заметно переменился. Что ни слово, то мат или феня. Да и этот блатной жест — «пальцы веером» — как свист дельфина, универсально выражает изменчивое настроение...

Паша вскоре замечает в глазах собеседника равнодушие и на полуслове прерывает рассказ о своих похождениях на рабочке.

— А хочешь, я тебе прочту стихотворение,— предлагает он.

— Прочитай,— оживляется Валентин.

Паша читает негромко, с интонацией:

Дождь штрихует это небо,
Отбивая дробь на крышах.
И как будто здесь я не был.
Не видал солдат на вышках,
Не ходил с конвоем в баню
В черном зековском мундире..
Дождь, по крышам барабана,
Бьет тревогу в сонном мире.

— Ну как? Неплохо?

— Сам сочинил?

— Сам.

— Неплохо. Только штрихи дождя— это литературный штамп. Я уже где-то такое встречал. По-моему, даже не раз...

Вдруг оживление всеобщего веселья привлекает их внимание.

Бывший малолетка вступил в переговоры и после длительного торга, получив слово, что его не будут бить, а также резать, жечь, душить и многое другое, вылез наружу.

Он щурится от света. Большеватая вельветовая куртка и джинсы, вырванные на пересылке, сливаются с цветом пола. Лицо такое серое, будто оно вместо ротора долго вращалось между графитовых щеток электромашины.

Паша по-свойски подмигивает Валентину:

— Видимо, мы с тобой сегодня еще на свидание сходим.

Валентину хочется его стукнуть. Он испытывает точно такое чувство, как однажды незадолго до залета. Они с Сашей сидели тогда вдвоем на диване. Он был сам не свой от телевизионных документальных кадров освобождения концлагеря, а Саша в это время полезла целоваться.

Бывшему малолетке отдают его кашу и вечернюю пайку. Он хотел бы потянуть еще время, но голод сильнее. Бывший малолетка рывками приближает рот к ложке, а не ложку ко рту, сидя прямо на полу.

— Кушай, Маша, кушай (его зовут Миша). Не торопись,— приговаривают обступившие со всех сторон.

Потом отпускают на толчок. Он прячется там очень долго, боясь выходить к тем, чьим твердым словом заручился из-под шконок. Потеряв терпение, двое в робах и кирзовых сапогах выводят его под руки. Молча, не сговариваясь (это сделано зара-

нее), снимают с него куртку, рубашку и кладут на пол вверх спиной.

Валентин удивляется. В таких случаях обычно снимают не куртку с рубашкой.

Они прижимают ему руки вдоль туловища. Один наступает коленкой на шею, двое садятся на ноги. И тут откуда-то из глубины камеры выходит еще один с тушью в баночке из-под сапожного крема.

Он несколько раз чиркает стержнем от шариковой ручки по распластанной спине, передает его в толпу зрителей и приступает к основной работе.

Бывший малолетка понял, чего от него хотят. Он кричит, выгибается, но получив несколько линков, начинает рыдать, сквозь слезы выкрикивая самые страшные оскорбления в адрес обидчиков. Те в ответ только посмеиваются, давая понять, что это как раз относится только к нему.

Коленка сильнее притискивает голову к полу, и татуируемый переходит на беззвучный плач. Он знал, что его ждет, и был готов к этому, но то, что с ним сейчас делали, для него настоящая катастрофа. Так, наверное, безумствовали рабы, когда их клеймили вечным тавром.

Валентин приподнимается на шконке. Перед его глазами во всю спину извиваются буквы: ПИТУХ. Это «питух» сражает больше всего.

— Ничего,— приговаривает кольщик.— Девки на пляже увидят, скажут: видно, важной птицей на зоне был.

Паша тоже весь как-то сникает.

— Трагедия,— хрипит он протяжно.— Песнь козла в переводе с древнегреческого.

Валентин не отвечает. Он подумал, что Паша острит, но тот поясняет:

— Когда древние приносили в жертву козла, он под ножом издавал предсмертный крик. Этот крик назывался трагедией.

Паша и Валентин пытаются возобновить свой спор, но шумная возня внизу мешает им сосредоточиться. Фразы не состыковываются, и они, как решили при встрече, ложатся рядом, постелив фуфайки на голый металл Пашиной шконки.

6

Валентин готов весь срок пролежать рядом с другом в этой транзитке (чем ближе зона, тем страшней), но наутро многим из них выдают по буханке сносного хлеба и по четыре селедки.

— Сухой паек раздали. После завтрака на этап. На зону, — заговорили в камере.

Паша и Валентин договариваются держаться вместе. Папки их личных дел ничего об этом сепаратном сговоре не знают и спокойно лежат в разных кипах.

Перед посадкой в «столыпин» эти папки первыми называются фамилиями тех, чьи судьбы они донесут до потомков, и рассовывают свои живые приложения по разным полкам неогороженного шкафа на колесах.

Валентину везет. Конвойные передают его в вагон из рук в руки последним, и ему достается третья полка самого крайнего купе.

От полок до стены не больше полметра, зато всего трое, а не Содом и Гоморра, как у остальных.

Этап идет на «семерку» — зону на самом краю области. Красную зону, где шестьдесят процентов зеков — активисты. Где вместо запланированных четырехсот — семьсот, считай и обиженных, человек. С последним этапом их будет семьсот с лишним. Валентин подозревает, что лишний именно он. Там сразу по прибытии, еще в этапке, эти активисты, не все конечно, а самые знаменитые, бьют до тех пор, пока не получают письменного заявления о вступлении в СВП: секцию внутреннего порядка.

Эта новость была известна еще в тюрьме. В транзитке другой тюрьмы она обросла подробностями. В «столыпине» вычленилась из многих других и мгновенно распространилась по вагону.

Валентин тихо паникует, стараясь не подавать вида.

В начале февраля рухнула последняя надежда на скорое, пусть в кредит, освобождение. В тюрьме многие говорили, что весной таких, как он, выгонят на «химию». Но восьмого февраля этого года вышел указ выпускать на стройки народного хозяйства после определенной части срока, в зависимости от статьи. У Валентина легкая статья, значит, надо отбыть третью часть. Восемь месяцев. Почти год надо пробыть там, где за один первый день он отдал бы несколько лет жизни. Несколько лет жизни, которые за этот первый день все равно отберут.

На нижней полке лежит немолодой зек в милостиновой спецовке. Он едет из больницы. Его привалило в забое (так там еще и шахта есть?), и он пару месяцев неплохо отдохнул.

Оказывается, шахта необычная. Семьдесят метров под землей. Проходку ведут метростроевским щитом, для чего именно, толком никто не знает. Говорят, что будет водоканал. В ту ночную смену, когда его засыпало, было уже около двух километров тоннеля.

Валентин пытается исподволь вывести, как в эту шахту не угодить, но в милостиновом костюме его сразу раскусил и говорит, что шахта не самый плохой объект на этой зоне.

Другой, помоложе, со средней полки, один из тех, что держали в транзитке бывшего малолетку за ноги, вновь сворачивает разговор на «сэвэпушников».

— Я скажу, что у меня старший брат сидит, — храбрится Валентин. —

И он меня зарежет, если узнает, что я надел повязку.

— Такие отводы каждый второй ка-тит,— возражает зек со средней пол-ки.— Брат сидит или отец.

На это немногословный с первой полки замечает:

— Самое смешное, что из них мало кто врёт.

Валентин высказывает еще сто при-чин, одну нелепее другой, препятству-ющих записаться в активисты, но оп-понент со средней полки легко пока-зывает их несостоятельность.

— Подумаешь, пару недель кровью помочишься,— говорит он.— Зато му-жиком останешься.

Для себя он, видно, все решил.

Жить на зоне мужиком, не принад-лежать ни к какой масти, как слы-шал Валентин, спокойнее всего. Да и потом, на воле, можно будет всех быв-ших кентов обходить стороной без оглядки. И когда он придумывает вслух сто первую причину, угрюмый молчун снизу спрашивает его усталым голосом:

— Тебя как зовут?

— Валентином,— с готовностью от-зывается Валентин.

— Так и будь им... Не будь Валея.

В купе делается молчание. Вален-тин обнаруживает, что молчит весь вагон. Давно уже спят все без исклю-чения. Угомонились даже те, которые напрасно выпрашивали еще раз на-питься или сходить в туалет. Только безразличный ко всему конвойный время от времени прохаживается по вагону и просматривает через сплош-ную решетку, отделяющую его от за-ключенных.

Валентин погружается в свои ду-мы. Он мечтает о невозможном. Что-бы уснуть на два года и проснуться со справкой об освобождении в кар-мане. Он вспоминает, что так и не спросил у Паши о том, с наколкой на веках. Рабочка знает про тюрьму все.

Живой он или нет? Но рад ли он то-му, если остался жив...

И вдруг Валентин находит сто вто-рой, но самый верный способ. Так находят клад. Если искать специаль-но, он никогда не дается в руки. А кто не ищет его, не думает о нем, тот случайно, мимоходом пнет ржавый горшок или ткнет ломом в гнилую стену и — перед ошеломленными гла-зами заблестит чистое золото.

Сто второй способ. Почти сто вто-рая статья. Умышленное убийство. Он убьет сам себя. Поделом вору му-ка. Хороша поговорочка. Наверное, у Хаммурапи ее слямзили, а выдают за русскую народную. Они еще о нем пожалеют. Не завтра, так через год. Через десять, сто лет, но обязательно пожалеют.

Как наложить на себя руки? Да пара пустяков... Четыре месяца тю-ремного стажа! Его не заменят и че-тыреста лет жизни на воле. Перевер-ни хоть тысячу томов детективной и психологической литературы и все рав-но не встретишь даже близкого на-мека на то, с чем здесь сталкивается любой заключенный. В природе ни-когда не будет такого литературного языка, которым можно было бы де-ликатно рассказать о том, что ей про-тивно.

— Командир,— жалобно тянет Ва-лентин, когда голова солдата-перво-годка равняется с его головой.— Дай докурить.

— Не положено,— солидно ворчит, не вынимая сигарету с фильтром, так же наголо стриженный одногодка Ва-лентина.

«Врешь, все равно выпрошу», — раз-задоривается Валентин.

Конвоир уходит в другой конец. Он бросает окурок в тамбуре.

Пока солдат не спеша гоняет по ва-гону молекулы всевозможных газов, Валентин обстоятельно подыскивает

самый верный способ изъятия у него сигареты.

Когда тот снова доходит до тупикового купе, то приносит с собой волнующе знакомый запах. «Золотое руно». Дым этих сигарет не спутаешь ни с каким другим ароматом из необъятного букета воли. Саша всегда предпочитала эти сигареты. Валентин запрещал ей курить, — пусть думает, что он ее любит, — и благодаря специфическому аромату, очень часто ее уличал.

— Земляки! — кричит Валентин. — Кто «Золотое руно» курит? Подгоните одну сигарету в крайнюю хату.

— Что, воровскую захотелось? — отзывается такой же юношески ломкий голос поблизости. — Ну-ну. Покури.

Перегнуть такую мелочь, как сигарета, даже не в «столыпине» почти всегда удается. А в вагоне, где есть решетки и нет к ним ни проволочной паутины, ни жалюзи — намордников, тем более великой сноровки не требуется.

Валентин отрывает фильтр, прячет его в карман. Для отвода глаз закуривает. Он честно выкуривает сигарету, после чего приступает к тому, на что окончательно решился. Приступить. Начать. А там будь что будет.

План в общих чертах готов. Надо вскрыть себе вены. Со времен жизнелюбивого Петрония Арбитра человечество не изобрело способа лучше, чтобы добровольно-принудительно расстаться с жизнью.

Отворить себе вены у локтевых сгибов и поверх куртки надеть фуфайку. В человеке очень много крови. Она может просочиться раньше, чем он им отомстит. Фуфайку — обязательно.

Валентин поджигает фильтр. Как только синий огонек превращает его конец в кипящую каплю, он с оттягом придавливает расплавленное волокно спичечным коробком к полке.

Инструмент — что надо. Лучше лезвия. Лезвие режет больно. Потрошит, а не режет. Лишь бы кровь не полилась так, как тогда из рассеченной ножом губы. Надо фуфайку подложить, пусть тогда льет.

Порезать вены и успеть придумать, чем утешится мать. Хотя, кажется, и искать не надо...

— Эй, ты что там делаешь? Ну-ка ляг головой к проходу!

Все. Заметил.

Валентин всерьез начинает думать, что он хотел покончить с собой.

«Ляг-ляг». Сразу видно, что издали. Вологодский, что ли. Земляк сказал бы «ляжь».

Он сменится утром. А если не утром, то передаст по смене о подозрительной возне в крайнем купе. Да какой там, не утром. Так и будет топтать всю ночь поношенными сапогами с чужой ноги. Салага.

Валентин начинает злиться. На себя, на конвоира, на весь белый свет. Они не дают ему расстаться с собственной жизнью. Считают, допустить самоубийство, значит, дать поблажку, а приговорить и расстрелять — самое лучшее наказание. Чушь какая-то. В голове не укладывается. Ну, ладно. Подождите же. У вас есть еще двадцать месяцев, у меня потом будет, может быть, полтыщи. Дайте только выжить...

На следующую ночь шахтовая клеть погружала Валентина в густеющий мрак. Он с отвращением косился на три ненавистные буквы в треугольнике на рукаве. В черном треугольнике с красной каемкой, которая даже в темноте бросается в глаза и ни секунды не дает побыть самим собой.

Паша, зек со средней полки, и некоторые другие отказались входить в зону и прямо с вахты угодили в штрафной изолятор.

Сергей Подгорнов

* * *

Лето теплокожею листвою
хорошо шумит над головой.

Дальняя внизу течет река,
и над ней проносятся стрекозы.
Ветер улетает в облака,
тихо перекачивает грозы.

Этот рокот, гаснущий вдали,
и деревья за спиной рядами,
даже воздух с запахом земли —
все полно волненьем ожидания.

Словно кто-то помнить не забыл,
что на свете есть земля и солнце.
Как когда-то в детстве:

— Жил да был...

И сейчас все главное начнется.

* * *

Я вырос здесь. У тех домишек
я мяч гонял еще вчера.
Коль выпадал какой излишек —
то это света и добра.

И я привык тобой гордиться
и верить в торжество идей.
Я помню дорогие лица
твоих заслуженных людей.

Я не притрагивался к теме
твоих немислимых потерь:
мол, было время, было время,
да все минуло... А теперь?

Мне душу рвут твои обноски,
висящие на худобе.
Постыдно горек хлеб заморский,
извне протянутый тебе.

* * *

Отпустил бы я душу на волю,
да она не летит никуда.
Посмотрела в широкое поле,
посчитала сверху провода,

посидела с вороной на ветке
и не ведает, что наперед...
И в грудной неустроенной клетке
о невнятной надежде поет.

ВОРОН

В тихом шелесте лесов,
разомлевших осенью,
вдруг пронзит тревожный зов,
голос безголосого.

Вот он круто поднялся,
эхо мимо, мимо..
Вот и жизнь такая вся,
вся — неуловима.

И чем дальше, тем родней
крик летит по свету.
В скорлупе бегущих дней
даже ядер нету.

Жить да жить бы мне еще,
да душа не сладит.
Черный ворон на плечо —
на могилу сядет.

Из каких ты будешь стай
помогаться — бредни.
Погоди, не улетай,
погоди, помедли.

Мертвой плотью задрожав,
выдохну — до точки.
И взлетит моя душа
в черной оболочке.

ОДИНОЧЕСТВО

По вечерам пшена для птиц
она насыплет по карнизу.
И медленно из-под ресниц
глядит до ночи в телевизор.

Часы, секундами пыля,
по кругу годы размечают.
Давно ль желтели тополя —
а вот уж снег бежит ручьями.

Одна,
со всех сторон одна.
Пустынно, тягостно в квартире.
Лишь за окном звезда видна,
и никого нет ближе в мире.

И той звезде в чужом краю
она — как давняя подружка —
без слов расскажет боль свою,
и слезы высушит подушка.

г. Анжеро-Судженск

Павел Майский

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КУЗНЕЦКА В ЕКАТЕРИНОДАР В ЛЕТО 1989 ГОДА

Как давно я не видел такой нищеты,
Разве в послевоенные годы.
Хоть бы делом с утра мужики заняты,
Хоть бы кто-то вскопал огороды.
Степь засеяна хламом «ржавелых» машин,
От угрюмых барачников душа костенеет...
Только разве улыбка далеких вершин
На тебя ожиданьем легенды повеет,
И опять — нищета по степи, яко тать,
Собирает ясак в Баскунчаковом царстве.
Да старинных вокзальчиков бравая статъ
За окошком мелькнет,

точно ментик гусарский...

И повсюду бессменные лет пятьдесят
Кумачовые лозунги «Слава...» висят!

* * *

Был майский день пронизан зябким солнцем...
Густел туман закатный от реки...
Сквозь голубое небушко-оконце
Господь взирал на мир из-под руки.
Что мыслил Он — неведомо. Но Правда
Открылась мне в тот миг любви большой:
Покуда жив — бери для тела радость,
Но не помри в долгу перед душой!

* * *

Что ж вы, деды, натворили,
В шашки поигрались:
Белых, красных перебили,
Серые — остались!

АМЕРИКАНЕЦ И РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

26 марта 1978 года на БМРТ (рыболовный траулер) «Пламенный революционер» с катера американской «Фиш-инспекшн» был высажен наблюдатель. Советские суда, бравшие в американской экономической зоне под Аляской хек и минтай, не должны были посягать на лангустов. Два траулера в последнее время на этом попались, и «Дальрыба» должна была платить приличный штраф в валюте.

Капитан «Пламенного революционера», пока суда швартовались, переживал неприятные минуты. Во-первых, не сунул ли кто из обработчиков запретный лангуст среди пластин мороженого хека — он не мог знать. Во-вторых, американец должен жить на судне недели две, а с продуктами не очень, рейс шел к концу. Да и вообще, зря они вчера в кают-компани смеялись над приказом о незадачливом старпоме БМРТ «Дзукия»: тот при заходе в английский порт не внес в судовую роль кота (так по английским законам положено) и был оштрафован на четыреста фунтов стерлингов. А тут с американцем все может выйти... Куда его селить? Придется второго помощника временно из каюты на диванчик к старпому. Но старпом же спит с «хоккейской по верхам». И потом неясно, кто у нас на судне стучач? Пусть бы эти проблемы решал хоть отчасти первый. Но первый помощник — верный солдат партии — на судне к идеологической борьбе в условиях разрядки (дело

шло к поцелую Картера и Брежнева в Вене, а афганские революционеры еще даже не пристрелили Дауда) готов не был. Два дня назад он допустил крупную политическую ошибку и старался не бывать при скоплении людей, пока хоть немного лицо не заживет. Шел перегруз готовой продукции, когда прибыла почта, письма и посылки. Без всякого рентгена помощник знал, что в посылках водка, налитая часто для экономии и сохранности в грелки, и, чтобы не ослабить трудовой подъем, распорядился: «Посылки до конца перегруза не отдавать!» Но не провел при этом достаточной разъяснительной работы. Миша из траловой команды (на перегрузе все свободные от вахты пашут — дорого время), выйдя ночью со смены из трюма, где он при минус 18 грузил на строп ящики мороженой рыбы и, узнав новость, пошел ломиться первому в каюту. Впустить его было никак нельзя, он бы неправильно подумал о моральном облике первого помощника. Так все и вышло.

Американец легко поднялся по трапу, испачкав жуткий советский дефицит (за который в некоторых городах убивали), американский джинсовый костюм, о свежий сурик.

— We are glad to see you, — вдруг поразил капитана и многих в команде низкий бородатый в стоящей колом черной робе обработчик (ее так стирали: привяжут конец и в иллюминатор).

В промтолпе (так зовут на судах обработчиков рыбы) на Серегу не удивились, знали его.

«Вот он и стукач», — подумал капитан. Мнение это, совершенно неправильное, имело последствия, но это за пределами рассказа.

Вечером, когда вторая смена заступила в рыбцех, старпом по судовой трансляции объявил: «Обработчику Иванову подняться на мостик!»

Серега уже хотел лечь на койку с книгой, потом поспать немного, в два часа ночи опять на смену, но раз зовут...

С мостика кэп увел его в каюту. Там, стараясь, чтобы видели его только в профиль, сидел и первый помощник. И докторша... В начале рейса, когда только шли в район лова и почти все пили взятое с берега, обольщая докторшу, пускал кэп, всех удивляя, с мостика в ночное небо ракеты. БМРТ — не плавзавод, где полно женщин. Здесь их на девяносто мужиков восемь всего, да две страшной атомной войны, а рейс сто восемьдесят дней, а то и двести. Проблема!

— Знаешь английский? — капитан кое-что расспросил о Сереге. Узнал, что выкупил тот чуть не все книги из судового магазина, что образование у него высшее (о том, что тот кандидат наук — не узнал, да Серега об этом и не писал в листке по учету кадров и не говорил здесь никому).

— Да... — Серега мог бы добавить, что еще немецкий и испанский, но зачем? Кое-какие слова и капитан, конечно, знал по-английски: «Master», ну и еще... Решение, впрочем, у капитана было уже готово, и с первым помощником они его уже обговорили. О том, что Иванов, по его мнению, стукач, капитан первому не сказал. Вдруг тот знает по своей линии, и выйдет неприятность.

— Ну, Сергей, выручай! Будешь пока при американце. С восьми до

четырнадцати в рыбцехе отработаешь, на вторые шесть часов, пока он здесь, ходить не надо, а в заработке не потеряешь. Переведешь ему что надо, поможешь.

— Тут вот данные, чтобы разговор составить, — протянул первый помощник несколько брошюр, ему их кипы в парткоме на берегу дали, он только названия и посмотрел.

— Если надо разговор составить, — усмехнулся кэп, — придешь ко мне, понял? Проверь, только деликатно, как он дринк?

— Ну вот, дринк. Потом этот агент ЦРУ потребует, как Колычев из Дальрыбы, бабу, — вмешалась докторша. Была она довольно молода, по судовым условиям хороша от голодных взглядов мужчин.

— Тут ты ему поможешь, — с усмешкой бросил кэп, чтоб не думали на корабле, что у него с этой серьезно (было, было... для него).

— Возьми для начала, — протянул кэп Сереге флягу. — Разбавь только, а то он, может, не привык к чистому.

«Если он стукач, то пусть и работает с американцем сам», — думал он, отпуская Иванова. И БМРТ «Пламенный революционер» стал жить и работать дальше с гражданином США на борту.

На пятый день к американцу почти привыкли. Он выбегал на палубу к каждому почти подъему трала. Если бы среди рыбы оказались лангусты, их надо было сбросить в море. Зашел в рыбцех, ему открыли холодильные камеры, и он, поведив датчиком прибора по ящикам готовой продукции, — не нашел ничего. У капитана отлегло на сердце. Из-за лангуст можно было слететь в штурманы, валютных штрафов в «Дальрыбе» не прощали. Оказалось, американец немного знает по-русски и активно пытается пополнить свой словарный запас. Он наотрез отказался есть в кают-компани

(там ему можно было поправить меня) и стал есть в столовой команды. Капитан срочно запросил, чтобы по этому случаю подкинули продуктов, на гарнир в последнее время шла одна гречка. Это беспокоило и повара, он как-то высунулся в окошко раздачи и спросил: «Сергея, как американец? Гречка его еще не задавила?» Но американец, когда дослушал перевод, ответил почти по-русски, что американский человек любит гречневую кашу.

А пить с ним было неинтересно. Американец выпить мог мало, не то что чистый спирт не признавал, а разводил его почти один к четырем. «Виски с содовой», так сказать.

Но вот его суждения по политэкономии были для народа почти идеологической диверсией. Сергей переводил, когда толпа американца допрашивала, что, почему и сколько в Америке, про себя думая, как бы не напереводиться на статью УК РСФСР, и хотя уже немногим дорожил в этой жизни, а все же...

Но, будучи советским человеком, когда Джек, понижая голос, спросил: «Ты не боишься вашей тайной полиции?» — рассмеялся в ответ: «Что за ерунда, это у вас ФБР негров там преследует и других борцов...»

— Террористов? — переспросил Джек. — Почему нет?

В борьбу с вредными американскими сведениями вступил первый помощник. Из-за шторма не бросали трал, рыбцех стоял. Первый собрал экипаж в столовой команды и, пока они вращались на закрепленных сиденьях, он, мужественно расставив ноги в дверях, читал им лекцию.

— Несмотря на ОСВ-1 и подготовку ОСВ-2... усилиями советского правительства... определенные круги (ну, это для начала, почти скороговоркой). — Дальше шла ударная часть из очень полезной статьи. — В капитали-

стическом мире (и это одна из форм эксплуатации народа!), действительно, вроде невысокие цены на некоторые потребительские товары... но стоимость лекарств, лечение... нет детских садов... наша квартплата — самая низкая в мире... — Килевая и бортовая качка даже привычного человека может начать мутить.

— Есть ли вопросы? — Поднялась рука: «А вечерний чай сегодня будет?» — Других вопросов не было.

На помощь Сергею стал приходиться, когда мог, не боящийся, по молодости, империализма третий помощник. И американец стал поддаваться. На одиннадцатый день он с признаками классического русского похмелья вышел на палубу, когда содержимое трала уже ушло в рыбцех. Но американец и туда не пошел. Попытка поправить его здоровье, хотя бы и сильно разбавленным спиртом, не вышла — организм не принимал. Можно было у рефмеханика попросить брагу, тот ставил ее в пластиковом мешке и для американца бы дал, но ее Сергей сам не решался пить. Миша с траловой команды подсказал: «Нужен толкач!» Развели варенье с водой. Дали американцу сначала этот напиток, а как только проглотил — в момент другой.

А еще через четыре дня белый американский катер пришел за своим человеком. Джек всех obeжал на судне, прощаясь, жал руки — гуд бай! Сунулся к Сергею с тетрадкой, куда записывал русские слова, как произносятся, что значит. «Сергей, эти слова?» — Тот молчал озадаченно. «Что у него тут?» — заглянул через плечо первый помощник. Через минуту, враз догадавшись, оба хохотали.

— Джек, это сленг, сленг, — смеялся Сергей, хлопая американца по плечу. Джек записал в английской транскрипции реплики ребят из траловой команды, а эти слова и по-русски никто написанными не видел.

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮБОВНИКИ

Я мечтала о морях и кораллах,
Я поесть хотела суп черепаший.
Я ступила на корабль, а кораблик
оказался из газеты вчерашней.

*Из популярной песенки
шестидесятых годов*

Сколько разных мест в нашем любезном Отечестве! Каким странным и экзотическим казался этот край Рогову лет пять назад. Ломаная линия сопков, город уступами, зеленые и синие стандартные коробки зданий. Приглядишься — увидишь, как лезут вверх, на гору, деревянные избушки. С улицы на улицу — по ступенькам лестниц. Над всем — сияние Авачинской сопки. Но достаточно бросало Рогова по стране, и убедился он, что, в принципе, города севера, юга, запада и востока одинаковы, только рельеф местности и отличает их.

«Пассажир» медленно подходил к причалу морвокзала.

«Здорово как...» — Жанна видела утесы, скалы бухты, суда на рейде. — «А? Ну да...» — Рогов видел, как трутся о борт льдины, покрытые объедками, бутылками, какой-то дрянью. Иллюминатор на судне, известное дело, еще и мусоропровод. «Застегни куртку, сейчас плохой ветер, просквозит...»

«Вон мой корабель!» — лицо Гушина, разруганное, оживленное, улыбаемое — будто лицо давнего друга. Давнего-то, положим, да, но друга? Рогову представилось, какая нелепая вышла бы история, не столкнусь они неделю назад около отдела кадров. Хотя, впрочем, эта история, которая вышла (или выходит, продолжается, то есть), она-то не нелепая разве?

Узнав тогда у кадровиков, что его плавзавод будет скоро заходить на Камчатку и проще попасть на него из Питера (так зовут для краткости в

здешних местах Петропавловск-Камчатский), чем ждать окasaki здесь, Рогов решил ехать в Корсаков. Уже на выходе из «минтаевой конторы» столкнулся с Одуванчиком. Они знали друг друга с того дня, как новичок Рогов, ставший рефмашинистом (стремительная карьера бывшего научного сотрудника из города Медного всадника!), выпил стоявший на иллюминаторе стакан приятной на вкус жидкости розового цвета. Он чуть не уронил тогда стакан от вопля: «Ты выпил мой толкач!» Вскочивший с койки лысеющий парень и был Одуванчик. Добрый, последнее отдаст, но запойный. В прошлом году они с Иваном вытащили Одуванчика из настоящей западни. Собравшись в отпуск на материк к маме, Одуванчик запил в Южном, в общегитити «Дальрыбы». Чтобы купить билет, ему надо было получить деньги по аккредитиву, но с похмелья у него не получалась подписать из-за дрожания руки, а после стакана, поднесенного кем-либо, — вообще не могла получиться. «Олег, — вцепился в него радостный Одуванчик. — Сука вербованная! Пойдем, посидим с ребятами. Лисичка с нами там. Мы сегодня в первый район.» Рогов, начавший было на Востоке прилично пить, почти бросил, после того как его чуть не ограбили пьяного в поселке Шебунино. Но и «белой вороной» среди людей ведь тоже не будешь... «Сидели» прямо тут, у конторы, в беляшной с видом на море. Когда возникали при нем разные ситуации, трогал Рогов у себя во рту язы-

ком место, где два года назад был зуб (выбили в ресторане «Челюскин» во Владивостоке) и не лез, а тут...

— Вино «Янтарь Ставрополя» хорошее, сладкое. Это тебе не водка из трелки.— Одуванчик родом был с Юга, вино понимал.

В тесноте Рогов не увидел, конечно бы, этой девчонки. Выпил бы с мужиками стакан и ушел. Ему скоро на автобус было в Корсаков. Но — показали.

— Реф, ты на «Кронид» — та тебе попутчица!

Девчонка в красной куртке, глаза раскосые (татарочка?), уткнулась в тарелку. На всю беляшную у нее одной, наверное, и был стакан не с чем-нибудь, а с какао. Нашла место победать!

— Образованная... — тянул свое парень из компании за соседним столиком.— Привезут тебя на пароход, вытряхнут из корзины, а там мужики стоят на палубе, выбирают обновку. Там не натолкаться, вербота! (Потом, обдумав, Рогов понял, что завелся он от слова «образованная»).

— Отцепись от нее, — развернулся он к парню.

— Чего, понравилась? — парень был благодушен.

— Ты не теряйся, тетка, с рефом клево жить, у них сгущенка не переводится.

— На молоденьких потянуло, Олехек.— Лисичка, до того и не глянувшая в его сторону, вмешалась сразу: — Чего он выступает, дай ему в рожу! — Слезы в голосе. «Ненавидит меня!» — поразился Рогов, следя за руками парня. «Этого вырублю, но черт...»

— Ребята, бросьте, давайте потахтим по-корифански! — Пьяный Одуванчик повис на парне, и ему-то влепила Лисичка пощечину, явно на Рогова рассчитанную, и тем разрядила обстановку. Одуванчика никто не

трогал, даже милиция. Перешло в хохот, когда Одуванчик с красной щекой (тяжелая рука черноработчей Лисички) полез к ней целоваться, не понимая, что та в истерике. Рогов встал, пробираясь к выходу.

— Мне сказали... — за рукав схватилась девчонка.

— Да, правильно сказали. Пошли, скоро автобус!

— В шалмане нашли прекрасную даму, Олег Александрович? — на крыльце конторы в хорошей канадской куртке стоял Гушин. В последний раз они встречались в 1977 году, вечность назад, в другой жизни, где была лаборатория и стрелка Васильевского острова. Гушин был невозможен здесь, но вот, пожалуйста...

— Мне тоже в Корсаков. «Пассажир» на Камчатку завтра вечером. Заедем в Южном ко мне, переночуем.— И добавил проникновенно: — Ты хорошо тогда ушел. Спина прямая, за перила не держался.

Девчонка отступила в растерянности. Гушин глядел с любопытством. Это и решило дело. Обняв ее за плечи (та неувовимо обозначила сопротивление), бросил:

— Я беспартийный и рядовой сейчас, Петр Сергеевич. Дальше мне некуда, краешек Союза.

— Так ведь и мне... некуда, — непонятно усмехнулся Гушин.— Когда меня в 1983 году приложили, я тебя вспомнил, точно, не вру... Но вот что встречу — не догадывался. Я ведь работал когда-то на Балтике. Ну и помогли... Хожу первым помощником на БМРТ...

— Попом, значит? Работаешь-работаешь, а как получать — так семьсот рублей?

— Да пошел ты... Двинулись, а то на автобус опоздаем.

— Мы позже. Поездом.

— Как хотите! На «Пассажира» встретимся...

— Где у тебя вещи? — повернулся Рогов к девчонке.

— В МДО (межрейсовый дом отдыха).

— В «дурдоме»? Тогда успеется! Пошли, поедим по-человечески.

— Я ела.

— Там не ест никто, ты первая. Меня зовут, как ты слышала, Олег...

— Жанна...

— Пошли, Жанна, в ресторан.

Следующие полчаса Рогов действовал как-то автоматически, почти не обращая на Жанну внимания. В убогом ресторанчике было холодно. Выпив рюмку водки, он, уставясь на скверную репродукцию картины Айвазовского, неожиданно для себя произнес:

— А там, в России, где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том Обводный канал...

Жанна, хлебнув из рюмки, закашлялась и поперхнулась.

— Ты что, водки не пила?

— Пила. Два раза.

И точно, не кокетничает. Откуда она такая? (Давно в бараке на Шикотане он задержал руку с бутылкой над стаканом рыжеватой девушки. «Лей, что я тебе, половинкина?» Так он познакомился с Лисичкой).

— Как ты сюда попала?

— У меня сестра плавает (Рогов чуть по привычке не ляпнул, что суда в море ходят, а плавают дерьмо!). — На «Конституции». Я ей написала...

— Ясно. Синее море, белый пароход. Сядем поедим на Дальний Восток!

— Олег, мне жить совсем негде было...

— Это тоже, в общем-то, понятно... — «Спокойно!» — сказал себе Рогов. Ты выпил, встретился с Гущиным, сейчас тебе плохо. А девчонка похожа на студентку, которым ты читал когда-то лекции. Ей трудно придется. Но

ничем ей не поможешь. Каждый сам себе Робинзон!»

Жанна еще раз попробовала водки и, сморщив нос, окончательно оставила рюмку.

— Разве я могу предложить даме водки, как говорил Бегемот. — И вопросик во взгляде на Рогова.

— Угу. Я грамотный. И прочел Булгакова, когда ты в ясли ходила. — Ловко ответил. Брови у нее пошли вразлет, потом собрались к переносице.

— Тебе... Вам сколько лет?

— Я старый, как мамонт...

* * *

Вокзальчик восхищал картиной на потолке — маршал Ворошилов на белом коне. Второй такой в стране, видимо, в общественном месте не сохранилось. Девчонка к вечеру совсем продрогла, и Рогов заставил ее надеть свой огромных размеров черный свитер, который, по счастливой случайности, Иван, не терпевший грязи, перед отпуском насильно (Рогов не давал!) выстирал. В поезде она сразу уснула, уткнувшись головой, на его плече. На остановках или на резких поворотах двери открывались — из тамбура тянуло холодом, март был в самом начале. Подумав, он бросил ей на ноги свою куртку. Японцам такие, похоже, выдавали, как спецодежду. Эту он сменял в рейсе на красную икру.

Рядом, мирно разложив соленую горбушу, лук и хлебушек, заканчивали бутылку два пожилых мужика. По разговору они были с колхозного МРС. Вот кому не позавидуешь! Это тем, кто море с берега видел, весело петь: «А волна до небес раскачала МРС». Всего раз за эти годы попал он на такую скорлупку — не было другой оказии до родного плавзавода. Пролетев Дианы никак теперь не забудешь! МРС взбирается на волну, как на го-

ру чудовищной высоты. Мгновение — остров внизу, а навстречу вторая гигантская волна, судно, как салазки с горки, летит в яму — и опять взмывает к небу. Медленные исполинские волны идут от океана в пролив среди островов...

Но мужички про работу особо не говорили. Спор у них был политический:

— Говорю тебе, его убили. Жена министра, ну... Он-то бы навел порядок.

— На хрена тебе порядок нужен?

— Чтобы селедку за борт не майнать, когда плавбаза не берет, понял?! На материке, кроме иваса да минтая, рыбы не видят, а мы тут зазря уродуемся!

— Да, от этого с астмой толку не будет, в рот пароход!

— Да не ори ты! Девушку вон у товарища разбудил.

Жанна подняла голову, а Рогов смог пошевелить затекшую руку.

— Просыпайся, скоро приедем!

— Всю дорогу проспала, ничего не видела...

— Тут нечего особо и смотреть. Лес на сопках еще японцы повырубили.

В гостинице, отодвинув в сторону табличку «мест нет», он протянул дежурной два паспорта и сказал громко, в расчете на безнадежно ждущих в креслах: «Бронь «Дальрыбы». В паспорте лежала зеленая бумажка. Время, когда научный сотрудник Рогов покорно уходил от «нет» и «закрыто», давно прошло. Женщина за стойкой, раскрыв паспорта, приподнялась из-за лампы, оценила Жанну (у той лицо стало в тон куртке) и, улыбнувшись, протягивая ключ, тихо сказала: «Как вы, мужчины, не боитесь?»

В одноместном номере Жанна, не зажигая свет, прошла к окну. Рогов уселся в кресло, раскрыл портфель

и вытянул на стол коробку куйбышевских конфет. Вез судовой библиотекарше, да бог с ними! Торопить события он не собирался.

— Олег, как все это у нас будет?

«То есть? Ого! — мелькнуло в сознании Рогова, но тут же он понял, что она спрашивает не о том, что сейчас произойдет... Хоть бы и никак, ни сейчас, ни вообще. Не усложняй себе жизнь. Поезд ушел», — сопротивлялась частичка его сознания, но, как он понимал, без толку.

И еще слова — едва разборчиво:

— Ты не думай, я была замужем. Почти год...

«Я хочу зачитать письмо жены, бывшей, к счастью, как она пишет. Это прольет дополнительный свет на моральный облик этого, с позволения сказать, правозащитника!» — Гущин, гремящий с кафедры, представился так явственно, что Рогов напрягся, замер, забылся, а Жанна, не открывая глаз, не понимая, шептала:

— Не бойся, сегодня можно... Ты возьмешь меня к себе в каюту?

— Почти.

— Как это — почти?

— Мы живем вдвоем с Иваном, но работаем в разные смены. Самая уютная каюта на судне, но не благодаря мне, конечно. Представляешь, Иван купил три разных японских сервиза. Говорит — пригодится, когда жена будет.

— А ты?..

— Нет.

— И не был?

— Потом как-нибудь, а, Жанка?

— Это хорошо, что у нас будет «потом»...

«Ну, все, попался, — думал Рогов. — Инна предала тебя из реальной опасности. Тогда, случалось, сажали. Но ты-то предал Лисичку просто так — из безразличия. Хватит, останови камушек...»

— О чем ты думаешь?
«Господи, ну почему они всегда задают этот вопрос?»

— О тебе!

— Не ври!

— Тогда не спрашивай! Ты «Анну Каренину» читала?

— Начала...

— У нас в каюте есть. Очень полезная для молодых женщин книга...

Ее волосы попали ему на лицо, защекали в носу. Он, откидывая, погрузил в них ладонь, дунул и вдруг без особой связи понял, что глухая ненависть к Гущину исчезла настолько, что легко можно попросить завтра того помочь с отдельной каютой на «Пассажира», зафрахтованном «Дальрыбой». Ему-то по табели о рангах

полагается там четырехместка. За что сам-то Гущин «полетел»? Писали — что-то с иконами.

* * *

«Кранцы на воду! Палубной команде выйти на швартовку!» — гремело с мостика «Пассажира».

«Вот и наш плавзавод в центре бухты, — показывал Рогов. — Пойдем, узнаем, когда рейдовый катер.» Ему хотелось скорее на знакомую палубу, в каюту, которая пять лет была единственным местом, похожим на дом, где на переборке висела написанная лично им для Ивана цитата: «Моряки больше обыватели, чем жители твердой земли. Их дом всегда с ними, а море всегда одно и то же.»

ТИХООКЕАНСКИЙ СЕКС

Плавать по морю необходимо,
жить — не так уж необходимо.

Латинская пословица

Катя сушила газеты с историческими речами и решениями, разложив их в маленьком помещении почты плавбазы. Письма с берега отправлялись с оказией и приходили раз в месяц, а то и в полтора. Но оставить экипаж без материалов 26 съезда КПСС было никак нельзя, и специально присланный самолет сбросил утром тую в море. Потребовалось спускать мотобот на воду. Их каюту из-за этого разбудили за час до подъема, мотоботчики прибежали за Кочкиным, тот спал с Ритой. Каюта была на шестерых, но работали в две разные смены и вместе собирались только тогда, когда вставал плавзавод из-за отсутствия рыбы. Сейчас он как раз стоял. Вчера сработали последнюю партию мороженой скумбрии, везли ее с морозильного траулера,

пласты поливали горячей водой, рыба попадала на разделку, под ножи, в неприглядном виде. «Работаем на внутренний рынок, девушки!» — гудел в судовой трансляции голос завпроизводством. Ну еще бы! Для экспортной продукции и рыба свежая идет, и масло испанское оливковое, и этикетки в Японии печатают...

«Девушки», в основном от 20 до 30 лет, в робах, фартуках, под фартуками набрюшники из сукна, холодно от железа и воды. Все одно, как ни одевайся, через год-два на обработке редко кто не болен. Мужиков мало среди обработчиков на плавзаводе. Обычно они едва могут норму нарезать, а многие девчонки режут полторы, некоторые — две. Сок от рыбы на лицо и руки — какие они будут, видели? Кате повезло. Кроме

почты (шаровая должность), на судне лучше, может, только библиотека. На подработке режет она полсмены лавровый лист (это же не рыба) и еще иногда стрижет. Инструменты свои, с берега. Училась на мужского мастера. Все это с помощью пятого помощника капитана, которого многие зовут просто «пожарником». Он все добивался (видно, точно с прибабахом): «Скажи, что тебе со мной лучше, чем с другими было, ну хоть соври!» И она сказала с легкой душой — да, мол. Был он у нее вторым. Приятно с ним только то, что в его каюте они бывали одни, не так, как приходилось многим девчатам, к ним ли приходили, они ли где ночевали. И душ, когда хочешь, а не раз в десять дней. Такую привилегию имели только изготовители рыбной муки, и все равно от них пахло.

Сегодня моют рыбцех, заканчивают брать с перегрузчика баночку — это до обеда. Вечером капитан разрешил танцы.

...Среди шестисот человек экипажа плавзавода больше половины составляли женщины. На добывающих судах с почти или чисто мужскими экипажами о плавзаводах чего только не рассказывали. Особенно после того, когда случилось у острова Хонсю увидеть по японскому ТВ что-нибудь этакое...

* * *

На борту перегрузчика уже в пустом трюме (выбрали стропами всю баночку) заканчивала работу бригада пятого помощника. Врач, радист, два преподавателя УКП заочной школы, стажер из мореходки — они всегда выходили работать на борт перегрузчика, так пятый договорился с заводом. Чистый воздух, не то что в трюмах родного плавзавода, где жарко, а с ящиков на тебя сыплет

крысиный помет. Собственно, работа здесь и кончилась. Тянули время, пока «маркони» завершит обмен с матросами перегрузчика. Те не хотели за водку денег, а требовали икры и красной рыбы. И радист отправился в корзину на свой борт будто бы за чаем. «Замерзли, сил нет! Попьем и кончим!» «Кончать будешь на...!» — проорал вахтенный, но корзину спустили.

Вечер отдыха — первый за несколько месяцев (даже на Новый год не стояли, шла рыба). Событие, к которому нужна подготовка. Это все понимали. Тот же вахтенный сунул молча «маркони» сверток, когда он с ведром чая в одной и сумкой в другой садился обратно в корзину. Бригада же, уйдя в глубь трюма, чтобы праздным видом не мозолить глаза тем, кто на мостике, трепалась о том о сем между собой. Пятый помощник рассказывал вошедший в морской фольклор случай, как отмечал день окончания путины плавзавод «Кавказ» (списанный теперь «на иголки»), как была покрыта полуголыми телами береговая полоса близ Поронайска. Преподаватель заочной школы Малинин перевел разговор на стажера Шидловского. Красивый парень, утром час делал зарядку на вертолетной площадке, на перегрузках почти всегда работал голый по пояс. Малинин уже не в первый раз пристал к нему:

— Леха, ты три месяца на плавзаводе, и у тебя нет тетки! Ты, случайно, не гомосек? Тебе, может, доктор нравится?

Но эта тема сегодня как-то не шла. И Малинин начал по-другому:

— Впрочем, я тебя понимаю. Вести девушку в каюту, где еще три барбоса, в лучшем случае, притворяются, что спят... Без привычки трудно, потому, когда станешь настоящим мореманом...

— Бугор,— неожиданно повернулся он к пятому помощнику,— как старший товарищ, наставник и ветеран, ты должен помочь нашему молодому. И прямо сегодня.

— Хорошо тарыхтеть,— крикнул сверху в трюм «маркони».— Майна-вира!

* * *

К 19.00 в каютах заканчивали марафет. У душей растаяли очереди. На людях в проходах по правому и левому борту вместо роб, резиновых фартуков и сапог — свежие рубашки, платья, туфли.

В столовой команды корабельный ансамбль проверял, как будут мигать большие синие лампы (те, что обычно используют при ночной ловле сайры). На баке, в каюте доктора, Малинин, председатель профкома Анечка, пятый помощник и сам хозяин каюты уже пили божественный напиток — венгерское вино «Бычья кровь», наполовину разбавленное спиртом. Малинин, при активной помощи Анечки (ту просто возбуждала эта идея, она сцепляла в замок, но тут же прятала под стол красные руки многолетней обработчицы) дожимал пято-го:

— Дай перед танцами ключ от своей каюты Лехе. Сам, что ли, не был молодым? Потом у него пойдет, и будет, как вся толпа, а на первый раз пусть у тебя.

— Что они, схемы ПТБ съедят? — встала Анечка.

— А я сам? — почти сдавался пятый.

Да ну вас, как пацаны, пойду телек в кают-компанию посмотрю.

— В 24.00 ключ чтобы был у ме-

ня! — Пятый собирался проветриться и поискать Катю, не зная, что она уже за переборкой, в его каюте.

* * *

Что она сегодня будет с Алексеем, Катя про себя поняла с начала вечера. Только одно вертелось в голове: знает ли он, что она живет с пятым? На судне не скроешь... И молила про себя — пусть бы не знал, пусть завтра скажут. Сейчас вот не надо. Сжилось — идти после танцев к нему в каюту, ведь он там не один. К себе вообще немисливо — сегодня никто не на смене. Обрадовалась, когда он бормотал что-то про ключ, и только на баке увидела, куда они пришли. Испугалась: что будет? И обрадовалась: не знает! Катя выросла в городке центральной России, где сапоги на толчке две месячные зарплаты, квартиры давали только участникам Куликовской битвы, а пример подруг — ранних «матерей-одиночек» — убеждал: главное — не залететь. Алексей же из кодекса настоящих мужчин твердо помнил: главное — не наматывать на винт.

За переборкой, в соседней каюте, вновь орал, думая, что поет, Малинин: «Дышала ночь восторгом сладострастья...»

* * *

Через полтора часа Катя опять была в той же каюте, пятый даже не сменил простыни. И когда она вдруг заплакала, скорее, в голос заревела, он, сначала растерявшись, решил, что она забеременела. Глядя ее по волосам, вспоминал сильные пальцы доктора и бормотал: «Ну, ладно, ну всё, ну ерунда, поставим все на свои места, найдем выход из положения...»

Геннадий Кузнецов

ОТЕЦ

ПОЕЗДКА НА ДРЕЗИНЕ

Уже входила осень в зиму.
Все суше, жестче снег летел.
Везли нас с мамой на дрезине
туда, где мой отец сидел.

Тележка была открытой.
Пальтишко ветер пробивал.
Конвойный то смотрел сердито,
то носом, задремав, клевал.

Плотней я к маме прижимался,
ее руками обхватив.
За песни ветер принимался,
и был у них один мотив.

Он был тоскливый, заунывный,
какой-то ноющий, больной,
рожденный той глухой, звериной,
лесной безлюдной стороной.

В КОМНАТЕ ДЛЯ СВИДАНИЙ

Хотя тесновато в каморке,
но как же мне радостно в ней.
И пахнет смолой, и махоркой,
и бочкою из-под сельдей.

И мама с отцом — молодые.
Их лица ясны и чисты.
Хоть люди они и простые —
печали у них не просты.

Но что мне их взрослая драма?
И радости нету конца,
и обнимает нас мама,
целует меня и отца.

А он говорит ей, бледнея:
— Свиданку нутром услышал.
Три дня жил как будто во сне я,
три ночи глаза не смыкал...

ОТЪЕЗД

С отцом прощанье — как в тумане:
ни глаз не вижу, ни лица.
Дрезина что-то плохо тянет,
дороге нашей нет конца.

И прижимает мама снова
меня к вздыхающей груди.
И сдавливает мир подкова
узкоколейного пути.

Гуляет ветер по платформе.
Поемка веселится зло.
И человек в военной форме
глядит устало, тяжело.

РАДОСТЬ

И вот по ссуде куплен дом.
И где? На улице (Советской!
Смеясь, не знают мать с отцом,
куда от радости им деться.

Цигарку, жмурясь, курит дед.
В отдельной комнате живет он.
Снопами щедро валит свет
через большие рамы окон.

С концами как свести концы —
у мамы нет вопросов прежних.
Ведь есть картошка, огурцы,
и вдосталь хлеба ножик режет.

* * *

Энтузиазма предвоенный взрыв.
Стаханов. Шмидт. Папанин. Чкалов...
Романтики восторженный порыв
в делах больших и даже малых.

Покончено навеки с голодухой.
На полках — мясо, масло, белый хлеб.
И в музыке, и в песнях — сила духа
тех незабвенных, тех тридцатых лет.

И только от врагов покоя нету.
Они кишмя кишат внутри страны.
Их козни пресекать в стране Советов
от мала до велика — все должны!

Сажу я на уроке в третьем классе.
В учебнике истории портрет
врага, пролезшего к военной власти,
старательно пером свожоу на нет.

В руке вскипает мстительное чувство,
усердней пальцы по странице трут.
И смотрит Блюхер праведно и грустно
на детский беспощадный самосуд.

ОТЕЦ И ГОЛУБИ

Душа ль отдушину искала,
иль чтобы жить повеселей,
отец, хоть мать протестовала,
купил десяток голубей.

Спеша к шесту, привяжет тряпку,
взмахнет, присвистнет, и гурьбой
взлетят они, прижавши лапки,
и вдруг рассыпятся дугой.

Вот птицы в высоту уходят.
Бывало, к ряду целый час
с них он, сияющий, не сводит
един-единственный свой глаз.

Когда под облаками станут
они с земли видны чуть-чуть,
враз охладит отец стаканом
свою взволнованную грудь.

Бутылку стукнет о забор он,
что силы есть, его тряхнет,
и то ль со злостью, то ль с задором
по всей по матушке пошлет.

ФОТОГРАФИЯ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ

Коржавин, я и Нецветаев
на переменке под дождем
стоим обнявшись и не знаем,
что рук друг другу не пожмем.

Что в жизни нас судьба-индейка
так раскидает, так затрет,
что никакая чудо-«лейка»
уже всех вместе не сведет.

А облака все небо глушат.
Нам в облаках легко витать.
И мы клянемся в вечной дружбе,
век которой не бывать...

УХОД ОТЦА

Как к горлу кость — так сердцу новость:
отец задумал уходить.
Нет, не показывал он норов,
а просто захотел любить.

Отец нетрезв. Он шумно дышит
и взгляд отводит от меня.
Не видит мать его, не слышит,
к коленям голову склоня.

Отец, махнув рукой неловко,
шагает, дверь открыв в рывке.
И забиваюсь я в кладовку,
на старом плачу сундуке.

Я так люблю отца и маму,
как дорогое, как одно.
И вот до боли жутко, странно
двоится на глазах оно.

И плечики мои трясутся,
и слезы льются, как вода —
ведь дорогие нити рвутся
и не связать их никогда.

ПОТРЯСЕНИЕ

Вот и продана наша корова,
и прощайте навек, Сиваки.
Здравствуй, станция Бочкарево,
негустые твои сосняки.

Здесь пройдут мои детство и юность.
И в тяжелый военный год
мне по сердцу, как будто по струнам,
потрясенье смычком проведет.

День запомнится мне. Спозаранку,
чтобы не леденела в нас кровь,
в школу мы натаскаем на санках
с золотистой смолкою дров.

На уроке вдруг что-то заплещет,
сладкогласно в груди запоет,
неземной, нестареющей, вечной
на тетрадку слезой упадет.

г. Новокузнецк

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ: СНЫ ОБРЕЧЕННОГО

«Темен жребий русского поэта», кто ныне будет с этим спорить, а в двадцатом веке темен особенно. Но и во всей русской литературной истории трудно найти столь беспрсветную судьбу, какая выпала Николаю Ключеву. Он, «народный златоцвет», вожак крестьянских поэтов, после революции был трижды арестован, расстрелян, оклеветан, забыт. А главное: позднее его творчество (четыре поэмы в том числе, как сообщал он в письмах из Томска) исчезло. Может быть, они еще всплывут из архивов КГБ, куда пока никого не пускают.

*Есть в Смольном потемки труппоб,
Где привкус хвои с костяниковой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.*

Вряд ли эти строки из сборника «Медный кит» могли понравиться новой власти, поэт вскрыл суть ее политики — геноцид. Ключев был обречен, уже со середины 20-х годов советская критика говорила о нем как о «певце кулацкой деревни», реакционере и контрреволюционере. В одном из последних писем из Томска сам поэт сообщал, что «сгорел» на своей поэме «Погорельщина», которую прочитал несколько знакомым. В поэме Русь, охваченная новым страшным расколом, горит, не сгорая, как библейская неопалимая купина.

Родился и вырос Ключев в былинном «оазисе», в Заонежье, считал себя учеником матери — вопленицы и сказительницы: «Мамушка пела уже не песни мира, а строгие стихиры о реке огненной, о грозных трубных архангелах, о воскресении телес оправданных... И еще говаривала мне моя родительница не однажды, что дед мой Митрий Андреевич северному Ерусалиму, иже на реке Выге, верным слугой был... дед был древлему благочестию стеной нерушимой... Тысячи стихов моих ли или тех поэтов, ко-

торых я знаю в России, не стоят одного распева моей светлой матери». Резкая национальная самобытность делает стихи Ключева трудными для восприятия нынешнего читателя — настолько утратили мы коренную нашу традицию.

Наследие Ключева еще не собрано полностью, печатать его стали в нашей стране лишь три-четыре года назад. Пока не изданы на родине поэта и его ни на что похожие «Сновидения». Тут на память приходит только древнерусский жанр «видений». Но ведь и стихи Ключева такие же — фантастически-сновидческие, «не от мира сего». Несомненно, если бы в руки НКВД попала тетрадь «Сновидений», они были бы квалифицированы тоже как «контрреволюционная литература». Увы, большая тетрадь «Сновидений» потеряна, несколько снов записал друг поэта Н. Архипов (в тексте — Коленька). Текст их воспроизводится по публикации газеты «Русская мысль».

Если сны, согласно учению Фрейда, — вытесненные дневные страхи, то в ключевских «Сновидениях» мы увидим картину эпохи, точнее, ее подсознание, формирующуюся магию преследования. Но ведь почти все, предчувствованное поэтом, сбылось. В снах этих — и «лаборатория творчества»: Ключев говорил, что стихи ему приходят во сне, из глубины сознания отвергнутого поэта, побивавшегося на паперти, но знавшего себе цену.

Инициатива ареста Ключева принадлежит И. Гронскому, редактору «Известий» и составителю программы и устава Союза писателей СССР. Это ему гордо сказал Ключев: «Я — самый крупный в Советском Союзе знаток фольклора... я — самый крупный знаток древнерусской живописи». Гронский ему заметил, что побивается тот из гордости и желания скомпрометировать советскую власть, ведь у него, по слухам, много дорогих старинных икон, говорят, даже есть икона Андрея Руб-

лева. Ключев подтвердил: да, есть, но святыми торговать он не будет. Гронский рассказал в конце пятидесятых: «Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н. А. Ключева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил: — Арестовать? — Нет, просто выслать из Москвы. После этого я информировал И. В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал». Как видим, к аресту Ключева (а он был арестован), причастны высшие комиссары.

*Едва уснувший небосклон
Забрезжит тайной неразгаданной,
Меня князей синедрион
Осудит казни беспощадной.*

Когда истекал срок пятилетней ссылки поэта, его арестовали снова. В Томской тюрьме следователь НКВД предъявил ему дикое обвинение в организации монархического заговора по всей Сибири. Выдающегося поэта России, вероятно, пытали, принудив подписать облыжное, ни на чем не основанное обвинение. Три дня работали заплочных дел мастера в окровавленном подвале, вместе с Ключевым были расстреляны случайно взятые крестьяне («повстанцы») и отбывавший в Томске ссылку философ Г. Шпет. Ни креста, ни знака памяти.

Я жил в Томске на Каштаке, на проспекте Мира и не знал, что где-то здесь закопано тело Ключева. Когда вселялся в новую квартиру, помню, слышал рассказы, как экскаватор зачерпнул кости. Зачем это было нужно диктатуре? Чтобы сравнять, уничтожить национально-русскую культурную традицию, для вящего торжества интернационализма? Ведь всех, или почти всех, крестьянских поэтов расстреляли в пору «одежничества» поэзии. Улицей Ключева должен называться проспект Мира, и должен стоять памятник в Томске. Но прежде надо бы мне, больше, кажется, некому, отслужить панихиду в старообрядческой церкви, в которую наверняка ходил в последние месяцы жизни поэт. Мы же с ним единовольцы. Правда, крещен-то он был, как оказалось, в обычной, синодальной, церкви, но и предки по отцу в недавнем прошлом были старообрядцами.

Судьба Ключева — сплошная легенда, и он

сам — ее творец. Он писал, что в Соловках был послушником и носил вериги, потом пошел по Руси и на Кавказе среди хлыстов познакомился с Григорием Распутиным. Эта автобиография — сон поэта. Но вот до революции он сидел в тюрьме за антимонархические стихи и воззвания, а расстрелян был как монархист. В середине пятидесятых КГБ «пустил утку» о смерти Ключева на вокзале станции Тайга якобы от разрыва сердца. Чемодан с рукописями будто бы украли воры. Затем, когда просочились сведения об аресте поэта в тридцать седьмом году, было сообщено о смерти его в бане. Так они «раскаиваются», ведь такое клеимо несмываемо.

В снах Ключева много места занял Есенин. Сны обрамляют цикл «Плач о Сергее Есенине». А вот один из снов: «Я вижу себя в глубокой подземной пещере — тьма... Я стою и точно чего-то жду — и вот, слышу, доносятся неистовые крики, все приближающиеся, все ужаснее, потрясающие, — и мимо меня сверху по узкой лестнице, уходящей в бесконечную пропасть, какие-то страшные чудовища волокут за ноги существо человеческого вида, — и при каждом шаге это существо бьется головой об острые камни нескончаемых ступеней. Существо все залито кровью, и когда его тащили мимо меня, я увидел и узнал того, кто когда-то был близок моему сердцу и творческим вдохновениям. Я весь содрогнулся и зарыдал, протянул к нему руки, а он из последних сверхчеловеческих усилий вопил: «Николай, молись обо мне!» Его поглотила бездна... Как неопишимо пагубно самоубийство! Как явно отрешает оно от всего светлого и отдаёт во власть немилосердного истязателя!» А в стихах так: «Помаяни, чертушко, Есенина кутьей из углей да из омылок банных». И еще так: «Мы свое отбавили до срока — журавли, застигнутые вьюгой».

Оплакивая «меньшого брата», Ключев уже понимал и свою обреченность, но характер у него был сильный. Он не мог простить Есенину его отступничества, богохульства: «От оклеветанных Голгоф тропа к иудиним осинам», — предсказал он ему когда-то.

*Умереть бы тебе, как Михайлу Тверскому,
Опочить по-мужицки — до рук борода!..*

*Не напрасно по брови родимому дому
Нахлобучили кровлю лихие года.*

Князь Михаил Тверской был убит в Орде за отказ поклониться монгольским идолам, за это он причислен церковью к лику святых. Здесь Клюев подсказал нам: церковь должна поминать его как новомученика, и в первую очередь — церковь старообрядческая. Но ведь это один из самых выдающихся поэтов России, и погиб он за нее: «Уму — республика, а сердцу — мать-Русь, пред пастью львиною от ней не отрекусь».

Николай Клюев возвращается, и это —

знак нашего опаматовления. Это человек из древней Руси взглянул на нашу новую смуту и отчеканил: «Вы на себя плетете петли и наостряете мечи».

Труден ли Клюев? Кто любит дальнюю память отчества, тому — ничуть. «Старые или новые эти песни — что до того! Знающий не изумляется новому. Знак же истинной поэзии — бирюза. Чем старше она, тем глубже ее голубо-зеленые омуты. На дне их самое подлинное, самое любимое, без чего не может быть русского художника, моя изымая Индия».

А. Казаркин

Николай Клюев

РАДОСТИ УЧИТЕЛЬ

Мартовские насты сивы, а зори па-
дучи и вихрасты.

Трактом до ростани около трех
верст столбовых, а на третьей версте
часовенка пологая у сосняка крест в
талом заряничном сусле купает.

Здесь под купанным крестом виде-
ние мне было, в теле или без тела —
про то не знаю.

Пришел я мартовской зарей к ча-
совенке, на крылечной ступеньке по-
сидеть, жалостью себя покормить. А
уж поздно было, до дому же обратных
три версты столбовых...

Пришел я домой с ветерком паве-
черним, в бороде, студеный. С устатка
не сумерничал, лег спать.

И вижу: сижу я на часовенном кры-
лечке, сосны при дороге и заря на

снегу... Гляжу — старичок, как бы
странник, дорогой к жилью да ночле-
гу поспешает...

Жалко мне стало батюшку.

«Откулецкий, спрашиваю, дедушка?»

А он мне в ответ голосом незабвен-
ным:

«Тамбовский, радость моя!»

Екнуло у меня сердце, узнал я Се-
рафима — брата, радости учителя.
Спохватился я, глаза открыл: сижу
на крылечке часовенном. И уж ночь в
мире, звезды надо мной редкие, полу-
зимние.

Пришел я домой в изумлении, как
пьяный.

Таково Серафимово видение, до
гроба не забыть.

Аминь.

Март 1921 г.

ДВА ПУТИ

Нездоровилось мне. Всю ночь дождь
клевал окошко. А как задремал я,
привиделся мне сон.

Будто горница с пустыми стенами,

какая в приезжих номерах бывает,
белесоватая. В белесоватости — зер-
кало, трюмо трактирное; стоит перед
ним С. Есенин, наряжается то в пид-

жак с круглыми полами, то с фалдами, то — клетчатый, то — синий с лоском. Нафиксатурен он бобриком, воротничок до ушей, наперед с отгибом; шея желтая, цыплячья, а в кадке голос скачет, бранится на меня, что я одежи не одобряю.

Говорю Есенину: «Одень ты, Сережа, поддевочку рязанскую да рубаху с серебряным стегом, в которые ты в Питере скручен был, когда ты из рязанских краев «Радуницу» свою вынес!..»

И оделся будто Есенин, как я велел.

И как только оделся — расцвел весь, стал юным и златокудрым. И Айседора Дункан тут же объявилась: женщина ничего себе, добрая, не такая поганая, как я наяву о ней думал. Ей очень прилюбилося, что Есенин в рязанском наряде...

Потом будто приехали мы к большим садам. Ворота перед нами — столбы каменные, и на каждом столбе золотые надписи с перстом указующим высечены: направо — аллея моя, а налево — Сергея Есенина...

И знаем мы, что если пойдем все по одному пути или порознь — по двум, то худо нам будет... Сговорились и пошли напрямки...

Темно кругом стало и ветряно...

Вижу я фонтаны по садовым площадкам, а из них не вода, а кровь человеческая бьет...

И не пошли мы дальше, а свернули вправо, туда, где деревья зеленые...

Вижу я — дорога перед нами светлым, нежным песком усыпана, а по краю ее как бы каштаны или дубы молодые, все розовым цветом унизаны. Меж деревьев стали изваянья белые попадаться, лица же у изваяний закрыты как бы золотыми масками...

Стал я узнавать изваяния: Сократа, Сакья-Муни, Магомета, Данте...

И вышли мы опять к воротам, в которые вошли, к калитке с моим именем. Подивились мы и порешили пройти и тем путем, который есенинским назван.

Вижу я — серая под ногами земля, с жилками, как стиральное мыло. И по всему пути — огромные мохнатые кактусы насажены, шипы по ножевому черню. Меж кактусов, как и на первом пути, — болваны каменные, и на всяком болване по черной маске одето: Марк Твен, Ростан, д'Аннуцио, а напоследок Сергей Клычков зародышем каменным уселся. И вместо носа у него дыра, а в дыру такую смешно и похабно сигарка всунута...

Стали мы с Есениным смеяться...

В смехе я и проснулся.

7 октября 1922

МЕДВЕЖИЙ СПЛОХ

Два сна одинаковые... К чему бы это? Первый сон по осени привиделся.

Будто иду я с Есениным лесным сухоятником, под ногами кукуший лен да богородицына травка. Ветерок легкий можжевельный лица нам обдувает; а Сереженька без шапки, в своих медовых кудрях, кафтанец на нем в синюю стать впадает, из аглиц-

кого тонкого сукна, и рубаха белая белозерского шитья. И весь он, как березка на пожне, легкий да сквозной.

Беспокоюсь я в душе о нем — если валежина или пень ощерый попадет, указую ему, чтобы не ободрался он...

Вдруг по сосняку фырк и рык пошел, мяряданье медвежье...

Бросились мы в сторону... Я на

сосну вскарабкался, а медведь уж подо мной стоймя встал, духом звериным на меня пышет.

Сереженька же в чащу побежал, прямо медведице в лапы... Только в лесном пролежне белая белозерская рубаха всплеснула и красной стала...

Гляжу я: потянулись в стволиках сосновых соки так видимо, до самых макушек...

И не соки это, а кровь, Сереженькина медовая кровь...

Этот же сон нерушимый под Рождество вдругорядь видел я. К чему бы это?

Январь 1923 г.

НЕПРИКОСНОВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Прости меня, Коленька, за грех мой. Не от меня исходит, а от древней злобы и мертвой персти. Не возложения рук твоих молю я, а пинка, как ошпаренной шелудивой собаке.

Собака я ошпаренная, а вновь и опять видел небо величавое и колыбельную землю сладкую.

На память преподобного Серафима, саровского чудотворца, привиделся мне сон пространный, легкий.

Будто я пеш и бос, в пестрядинной рубахе до колен, русская рубаха, загуменная.

Понизь — равнина, понизовье поречное без конца — без края в глазах моих, и воздухи тихие благорастворимые. Там и сям на груди равнинной водные продухи, а на них всякая водяная птица прилет с северных стран правит...

И будто земля сновидная — Египет есмь. Сфинксы по омежным сухмям

на солнышке хрустальном вымя каменное греют.

Прохладно и вольно мне, глотаю я воздух дорогой, заповедный. И будто в стороне море спит, ни ряби на нем, ни булька...

Далеко, далеко за морем пушки ухают: это будто в Питере неспокойно...

Вдруг два человека мне предстали: один в белом фараонском колпаке рыбу в десять лес ловит, а другой — ищейка подворотная, в пальтишке уличном и в руке бумага, по которой я судебной палатой за политику судился. Тявкнула ищейка, а смысл таков: мол, установлено, что я, Николай Ключев, — анархист; что же касается Распутина, то это установить еще надо.

«Ну, думаю, с меня теперь взятки гладки: в Египте я, в земле древней, неприкосновенной!..»

Проснулся обрадованный.

Январь 1923 г.

ЖИВОЕ ДРЕВО

Под святочную порошу спится глухо. Колотушки сторожевой не слышно. Спал бы век векущий, да сны будят.

Под святочную порошу видел я себя в лесу. Лес особенный — необхват-

ные стволины, земля сальная, дюжая...

Темень в лесу, марево сизое. Все деревья заматерели во мхах, в корявых наростах, в седилах трущобных.

Тронул я перстом одно самое матерое дерево, а из него голос ровный, как бы укорный:

«Что ты меня беспокоишь, ведь христианство только теперь началось!..»
Годы дремучие...

Январь 1923 г. (?)

СОН АСПИДНЫЙ

Взят я под стражу... В тюрьме сижу... безвыходно мне и отчаянно. Сторож тюремный ключами звякает, жалеючи меня, говорит мне, что казнь моя завтра и что придется меня, хоть и жалко, в холодный каземат на ночь запереть.

«Господи, думаю, за что меня?..»

А сторож тюремный, жалеючи меня, говорит: «За то, что в дневнике

царя Николая II ты обозначен! Теперь уж никакая бумага не поможет!» И подает мне черный, как грифельная доска, листик, а на листике белой прописью год рождения моего, имя и отчество наименованы. Вверху же листа слово «жив» белеет...

Завтра казнь... Безысходна тюрьма, и не вылизать языком белых букв на черном аспиде...

23 февраля 1923 г.

СОН БЛАЖЕННЫЙ

В солнце стоял я, как пчела в меду потонул в лучистом злате. Передо мной же картина: блаженные деревья, блаженные небеса и воды. Слева ястреб — горний ангел парит...

И блаженны глаза мои и сердце мое

от вида блаженного... И был мне голос: «Это картина Беато Боттичелли, она в Олонецкой губернии!»

Очнулся я улыбкой блаженным, как пчела в меду, сердце топилося.

25 февраля 1923 г.

НОВОЕ СЧАСТЬЕ

Еще сон незабвенный: как родительская могила памятный.

Будто улицей ночной захолустной иду я. Ни огня, ни продуха света, грязь под ногами поросенком хрюкает и рубаха моя беспоясная в ветре полощется. Заблужденный будто я, безночлежный, и бесследье дикое вокруг меня...

Набрел я на ворота, молчанием кованные. Стал плечом калитку напирать: поддалась будто калитка. Вижу: на дворе строенье темное, сотворил я молитву про себя, Духа Света

вспомню, а кто-то из тьмы темный сгрубянил меня: мол, этого имени здесь не помнят. Стал подниматься я с крыльца, огни показались мертвые, как в городских трактирах, и топ, и верезг, цап, гуз и прыск человеческого оглушили меня.

Вижу, горница на конское побежище велика и вся плясней зыбится, ходуном ходит от чертовой пляски... Музыки страшная, неминуемая и кружится окаянное, проклятое, благословения материнского не знавшее: пара в хвостах собачьих калом рыгает, пара

в пестях вередовых гнойных, пара — глаз бычий, разъяренный, убойной кровью налитый...

Осоловел я. В неум меня кинуло. Гляжу: ты, Коленька, в дверях, и оборотень, кишащий червями, тебя в пляску тащит. «Ну, думаю, пропад тебе!»

Негаданно стена позади меня воссияла, как-то растаяла. Онемели чертоты дудки, и в глазах у меня видение благое: вижу, идет муж духосвятный с кропилом в деснице, а по леву перед ним отроча в венце измарагдовом. Грядет духосвятный муж, а я за ним, под щитом-кропилом. Кропит святитель ошую и одесную и, как тлен горелый, рассыпается чертово проклятое.

Горница — конское побежище, гляжу, уж на убыли. Вижу тебя, Коленька, червивого, пес лижет. Стал я пса пинком от тебя гонить, а он голосом

валяжным, чиновным, изрек мне, будто он знакомец твой покойный и велит тебе Четвергу не верить.

Помолился я святу мужу рыдающей молитвой о дружбе нашей, и он благословенную десницу подъял и благословение афонское по-гречески проглаголал. И пали живые капли от кропила его на тебя, псиного и червивого...

Гляжу, идем мы дорогой ясной, заморский ветерок в лицо нам дует; дерева круглые, как чащи, миро зеленое к небесам возносят и птах на них, желтых и червонных, как пчел на медоушнике.

Край незнаемый, неуязвимый бедами...

«Это — Канарские острова!» — говоришь ты, а сам такой легкий, восковой, из червя неусыпаемого вызволенный...

Новое счастье!

Май 1923 г.

ПРЕСВЕТЛОЕ СОЛНЦЕ

Будто лезу я на сарайную стену, а крыша крутая. Сам же сарай в лапу рублен, в углях столетья жухнут, сучья же в бревнах паточные, липкие. И будто у самого шолома сосна вилавая в хвойной лапе икону держит, бережно так, как младенчика на воздусях баюкает. Приноровился я икону на руки приять, откуль ни возьмись, орава людская, загалдела на меня, вопом да сглазом душу полоша....

Побежал я по шолому, как синица за комаром... Догнала орава меня в тесном месте, руки в оковы вбила, захребетной цепью сковала. Повели меня к темному строению. Вижу, к стене лестница поставлена, ушами в полый люк уперта. И надо мне в этот люк нырнуть, а руки у меня скованы и захребетная цепь грызет тело мое.

Прыгнул я с лестницы в люк, не убился и плоть не ушиб. Вижу: спит темь, хвост — коридор длинный, голова же — пустая конюшня. Знаю, что есть и глаза у тьмы, и слышанье кошачье, только я-то в утлость головнук за смертью пришел, за своей логи белью.

Солдатишко-язва, этапная пустолайка, меня выстрелом кончать будет. Заплакал я, жалко мне того, что восточки миру о страстях своих послать нельзя, что любовь моя не изжита, что поцелуев у меня кошель непочатый... А солдатишко целится в меня, дуло в лик мой наставляет...

Как оком моргнуть, рухнула крыша-череп, щебнем да мусором рассыпался коридор-хвост.

Порвал я на себе цепи и скоком-по-

летом полетел в луговую ясность, в божий белый свет... Вижу: озеро предо мной, как серебряная купель; солнце льняное непорочное себя в озере крестит, а в воздушных облаках драгоценное, виссонное, и на нем, как на

убрусе, икона воздвиглась «Тихвинская Богородицы»...

Днесь, яко солнце пресветлое, воссия нам на воздушных, всечестная икона твоя, Владычице, юже великая Россия, яко некий дар божественный, с высоты прияла.

24 июня 1923 г.

СЕДЬМОЕ КОЛЬЦО

На память мученицы Февронии, что палачами своими была вселюдно на куски рассечена, видел я сон про твое, Николенька, убийство.

Будто два безвидных и бесчеловечных тебе лицом ударом окровавили и жиганским ножом прокололи тебе грудь. Казенные люди — убийцы твои, одеты в военное, но безликие, и говор их — бормотанье да хрип сивушный про ящик. А за ящиком я спрятался, свое остервенелое сердце с ужасом да отместкой утешаю.

Гляжу — в ящике снаряд динамитный. Ухнул я снарядом в душегубцев, в проклятых, давно ненавидимых... Громным взрывом выкинуло меня, как пушинку, в мягкость какую-то...

Гляжу — хлев предо мной коровий, навозом и соломой от него несет.

Вошел я в хлев, темень меня облапила, удойная, добрая мгла. Узрел я дверь в стене; знаю, что не простая это дверь, драгоценной работы она и порог ее священный. Отпер я дверь, в завесу глазами уперся. Завеса как бы из огня мягкого тканя и буквы на ней полукружьем светлым: «Приидите ко мне все вернии...»

Стал я душу свою спрашивать, живой ли я? Перекрестился и одолел завесу. Пахнуло на меня неизреченным, чем христовская заутреня цветет. Ясли коровьи передо мной стоят, из белого камня высечены, а над ними пречистые лампы горят.

На каменном ложе ты убиенный, всякое житейское попечение отложивший, авелевой наготой светишься, бесчисленны раны твои, язвы, пупыри и отеки. Уразумел я, что искусало тебя насмерть житейское море, и все грехи твои перед Богом на теле твоём, как на явной бумаге, язвами рассказаны... Врач тайный, а какой — словами не скажешь, тело твое целить тщится. Но какое лекарство ни приложит, на всякое запрет свыше нисходит. Догадался я, что к последнему прибегает Врач, и голос слышный пролился: «Той язвен бысть за беззакония наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом».

Вдруг вострепетал человеко-коршун, из тьмы родясь и сам темный, и затрапезным, всеми земными скрипками, мутью и сипом исполненным голосом как бы указ преподавал, мол, исцелять еще не сроки, он не прошел седьмого кольца.

Возрадовался я тайне, глаза же мои плотские дальше покатались. Мерещится глазам улица, дома огромные и холод в них. Ворота под одним из домов кашалотной пастью зияют, и ты, Николенька, из пасти этой мне шляпой махаешь: «Прощайте, напишь, Николай Алексеевич! Теперь-то я уже погиб навеки!..» Подбежал я к воротам и прочитал номер дома — 12.

Ты же сгиб, знаю, что бесповоротно и беспаспительно.

10 июля 1923 г.

СТУДЕНАЯ ЖАЖДА

Будто двор снежный в церковной ограде. На дворе церквушка каменная, толстостенная, почитай, вся снегом занесена. В надовратном кокошнике образ Миколин, и ты, братец мой, в нищем пальтишке, голорукий, в папертные врата стучишься — иззябший и бездомный.

Под оконцем церковным ледяной колодец, а в нем вода близкая, но не нагнуться мне, пясткой не захлебнуть: норовлю я черпаком берестяным во-

дицы испить. Только, гляжу, человек передо мной бородатый, на костылях, по имени и отчеству меня окликнул и в церковь позвал причастной теплотой мою студеную жажду погасить.

Человек на костылях и ты, братец, на снежных крыльях в одно слились, и обличье у вас стало одно и голос один.

Врата же церковные открыл невидимый...

14 июля 1923 г.

ЛЬВИНЫЙ СОН

Будто топлю я печь в новой избе. Изба просторная, с сараем и хлевами под одну крышу. Только печное полыма стеной из устья пошло, не поизбяному, а угрюмо и скудно...

Выскочил я в сени — жар и в сенях; я в сарай — тамо треск огненный. Выбежал я на деревню, избы дымом давятся, народ бежит погорелый, спасенья ищет... А в ветре зола горячая да изгарь.

И будто меня поджигателем сочли; надобно мне от казни ухорониться. Слежка за мной в восемь глаз...

Стали [...] перемежаться. Домик белый на горке, а перед ним черные бабы по-кошачьи на локотках спят, себя за деньги показывают; в пользу погорельцев.

Толкнулся я в дом, а там четверо меня ищут; все на одно лицо, корявые. Не верю я их заговоркам да басням, уйти пытаюсь... Пробрался в кусты подоконные, думаю, от казни оборонюсь. Гляжу, меж кустов столышко заплыванный дивной, за ним пропойцы, что дрызгом сыты, и ты, Николай Ильич, с ними...

Побежал я в садовую калитку, но казни не избыл: повел меня с тобой Корявый на булыжный двор — казни

предать. Столбы и виселицы готовы...

Сгинул Корявый по своим заплечным делам, а я и говорю: «Спрячемся, Коленька, под виселичную стойку!» Стали мы стойку от земли приподнимать, холодом на нас пахнуло, как из колодца. Под стойкой ход в землю оказался. Ухватились мы друг за друга крепко и полетели вниз, как бадья колодезная. О дно не расшиблись, на ноги встали. Воззрились, двух птиц огромных увидели. Заклохотали индюки, как мельничные песты, гурком да шипом нас встречая. Темные птицы, как кедровые дремучие...

Вдомек мне стало, что надо от них ксрмом откупиться. Стали мы корм искать, ты у одной стены, я у другой. Нашли по волоковой доске, какие у рундучных лавок бывают; на твоей и на моей досках наши имена прописаны. Отодвинули мы доски — что ковриге хлебной нашли, большие ковриги, новопеченные.

Стали мы птичищам мякиш крошить, с рук кормить, и чем больше ковриги на исход идут, тем кровь человеческая в мякише явственней. Глодают птичищи кровавый мякиш — вот-вот и нас пожрут. Только помыслил я это, вижу, — тебя, Ник[олай]

И[льич], птичища в зоб уместила, пожрала и от сытости угомонилась, как бы спать собралась.

Моя же птица по-человечьи заговорила, мол, меня тогда пожрет, когда домой отведет. Спрашиваю я птицу: «Ты — я?» И ответила мне птица: «Да, я — ты!»

Пошла птица меня домой выводить и усмотрел я, что ноги у ней петушинные, золотой чешуей покрытые, и когти золотые...

Привела меня птица к окованной двери, засов железный сдвинула и меня в дверь пропустила. Не выйти мне назад во веки веков: дверь окованная, закаятая. Ужас у меня накати, мертвый страх! Попал я в львиное ущелье: львы и тигры в нем, как глазом охватить, стадами стоголовыми гнездятся...

Нет мне спасенья, мертвый страх в духе моем. Вдруг слышу я голос, из дикого гранита голова бородатая гласит: «Достань кровь из уст моих!»

Ударил я, что есть мочи, ногой голову в зубы. Измазал кровью ноги и руки, и лицо, чтоб неуязвимым стада львиные, щерясь и рыкая, дорогу мне дали через свой львиный двор. Миновал я путь смертный, вижу: карфагенская стена предо мной, кладка тысячелетняя и зубцы неприступные. И будто лестница на стену ведет, мне во спасенье.

Вознесся я на стену, простор узрел: и небо, и землю. Только и небо и земля струпные...

У самой стены и дальше, сколько глаза хватят, в гнойном желтоватом тумане тьмы человеческих болванов кривляются. И тебя, Ник[олай] И[льич], узнал я среди них, и голос ты мне подал — поганый вороний грей: «Здесь земля прокаженная!..»

Вот меч смертельный, львиный мой сон!

Позади зубы львовы, впереди же проказа карфагенская.

30 июля 1923 г.

ЦАРЬГРАДСКИЙ ЗАКАТ

Будто спасаюсь я от врагов. Забежал в болото, где треста болотная и вода по пояс. Ныряю я в воде, одна голова поверх, боронюсь от врагов...

Выкарабкался на сухой берег, бегу березовым перелеском, куда глаза глядят. Прибежал к новой избе на опушке. Думаю, добрые люди живут, помолюсь им и спасут меня. Вбежал в горницу, вижу, девка ждет меня, учливая, зовет в другую горницу: «Там, говорит, бармы для тебя приготовлены!»

— «Знаю, думаю, какие это бармы! Петля удавная!»

Девка мне нитку сканую показывала. «Вот, говорит, на такой тебя повесят!» Размыслил я, не страшно нитки. Пошел я за девкой в другую горницу. Стал к окну, и в лицо мне гор-

ний свет бьет. Обернулся, не одна, а три девки позади меня, на лавке сидят, зубы скалят. Пряжен они, нитки прядут, прялицы крашенные, и веретна со звоном. Не опомнился я, нитками весь запряжен... Перерезали мне нитки горло, как петля удавная, и умер я в единый миг, плоть девкам оставя, а сам же лебяжьим летом лечу над великим озером. Тихи и безбрежны воды озера, вечная заря над ним, о которой поется «Свете тихий» по церквам русским. Паруса безмятежные в заре, в воздухах и в водах. Лет лебединый во мне и стихира в памяти:

Парусами в онежские хляби
Загляделся царьградский закат!

24 марта 1924 г.

ЛЕБЯЖЬЕ КРЫЛО

А я видел сон-то, Коленька, сегодня какой! Будто горница, матицы толстые, два окошка низких в озимое поле. Маменька будто за стеной стряпню развела, сама такая веселая, плат на голове новый повязан, передник в красную клетку.

Только слышу я, что-то недоброе деется. Ближе, ближе недоброе к дверям избяным. Дверь распахнулась, и прямо на меня военным шагом, при всей амуниции, становой пристав и военный исправник Качалов.

«Вот он, говорит, наконец-таки попался!»

Звякнули у меня кандалы на руках, не знаю за что. А становой с исправником за божницу лезут, бутылки с вином вылагают...

Совестно мне, а материнский скорбящий лик богородичной иконой стал.

Повели меня к казакам на улицу.

Казаки-персы стали меня на копы брать. Оцепили лошадиным хороводом, копы звездой.

Пронзили меня, вознесли в высоту высокую! А там, гляжу, маменька за столом сидит, олашек на столе блюдо горой, маслом намазаны, сыром посыпаны. А стол белый, как лебяжье крыло, дерево такое нежное, заветным маменькиным мытьем мытое.

А на мне раны, как угли горячие, во рту ребячья соска рожком. И говорить я не умею и земли не помню, только знаю, что зовут меня Николой Святошей, князем Черниговским, угодником.

Петергоф, 8 июля 1925 г.

ПУЧИНА КРОМЕШНАЯ

Страшно рот открыть, про этот сон рассказывать...

Будто новый год на земле, новые звезды и новый ветер в полях. А я за порогом земным, на том свете посреди мерзлой, замогильной глади. И та гладина — немеренный и немислимый кал человеческий да трупная стужа...

Иду я тысячу лет, а все пристанища нету... Но вот будто малый приступочек. Присел я на него — не пойду никуда... Только воем в уши плеснуло: вижу, два беса человека, как бочонок, катят. Наросли на человека все грехи его, и, как чан мясной, он катуч... Других два беса под человека одеты, богатых кабаков гости: мамишка, джимы и все прочее; только крещеной душе узнать, что это враги. Кувырком, с плясом и гончей рысью волокут они человека за ноги,

как дровни за оглобли. За дровнями третья пара, поперек трость панельная в серебряных буквах, а на ней голова насажена бабья, в рыжих волосах, а кишки кал земной и мертвецкий мусор метут...

Сотворил я молитву, в духе своем Христу кланяюсь, любовь свою к Его любви возношу...

Слышу вой человеческий напополам с волчьим степным воем. Бежит оленьим бегом нагой человек, на меня поворот держит. Цепью булатной, неразмыкаемой человек этот насквозь прошит, концы взад, наотмашь, а за один из концов лютый и всезлобный пес, как за вожжу, держится, правит человеком куда хочет. У той и другой ноги человека кустом лезвия растут, режут смертно.

«Николай, нет ли меду?!»

А бес гон торопит.

«Ведь я не пьяный, не пьяный!»

А бес гон торопит. И помчался оленьим бегом человек Есенин. Погонялка у беса змей-чавкун, шьет тело быстрее иглы швальной. На ходу, на утеке безвозвратном, два имени городских выкликнул Есенин: Белёв, Бжецк.

Возрыдал я к Спасу... Чую, под локтем у меня как бы узенький проходец, только боком втиснуться. Помыслил я укрыться от страха ночного в проходец этот. Тискаюсь, тискаюсь, о лоб и затылок стены задевают. Шуршат стены мертвецкой кожей да волосьми. Стала одежда с меня как корка с недопеченой ковриги отваливаться, а за ней и тело стало строга-ться. Утончился я, белым костяным стал...

Чую, под ногами мокро, все глубже, глубже ноги в мертвую кровь уходят. А впереди шум сточный, водяной, кромешная, кровавая пучина...

Некуда мне двинуться... Гляжу, человек ко мне идет. Пучина его держит, не мочит он своих ног в крови. В черном весь человек, в мягком, складчатом, а лицо, как воск, легкое и тонкое.

«Николай Васильевич Гоголь?»

«Да,— говорит,— это я. Пока еще здесь, за сомнения. Вы все написали, что я вам советовал. У меня был молитвенник — отец Матвей, к вам же я послал Игнатия. Писать больше не о чем...»

Конец сну.

1 января 1926 г.

ДВУРЯДНИЦА

В эту зиму больше страшные сны виделись... До Троицына дня три ночи тяжелые... Только когда пришло с иконописного Палехова письмо от зографа-приятеля, такое нехитрое да заботное, привиделся мне в ночь с воскресенья на понедельник теплый турецкий сон.

Будто я в лодке на теплых шелковых водах; цвета глубина водяная лиловато-зеленого.

Плещет двухлопастным веслом дестина курчавый, черноочитый и запеклый; весь голышом, только уды горячие (я знаю, что они горячи) пестрым труном прикрыты. Едем мы под мост, не теперешний, тысячелетний, с каменными сводами. Над водой выведены они мудрой строительной силой.

Такая радость на водах, ветер густой, померанцевый, как пуховое опа-

хало, с бороды копать зеленую сдувает. А в лодке сладкие стручья жареные буро-коричневые в рот просятся; ем будто я стручья, на язык и утробу вкусные, сладко насыщающие, а лодочник надо мной смеется, веслом двухлопастным плещет, теплый зеленый шелк в груди сгребает...— «Мол, у нас эти стручки только свиньи едят!» — А я ему по-турецки ответ шлю: «Ничего, если у вас свиньи, то нам сладко и дешево!»

А на левом берегу три Софии стоят; с боков златы, напрямки же, как с лодки глядеть, более жасминного цвета и, как жасмины, нежны и душисты.

И знаю я сонным знанием, что шелковые воды — это ожившая Сахара, что путь мой свят и первоначален.

Проснулся я, от радости крестом себя осеваю крепко так, до боли на

лбу и под ложечкой. А когда забылся, вижу себя на русской полевой тропинке; место высокое, на тысячу верст окрест видно, все низины да русла от озер и рек утекших. Ушли воды русские, чтоб Аравию поить, теплым шелком стать. И только меж валунов на сугорах рыбы запруды остались: осетры, белуги сажени по

две, киты и кашалоты рябым брюхом в пустые сивые небеса смотрят. Воздух пустой, без птиц и стрекоз, и на земле нет ни муравья, ни коровки божьей.

И не знаю я, куда идти по полевой псковской тропинке меж рыбьей бесчисленной падали.

Апрель 1928 г.

Николай Колмогоров

* * *

Из разного вчера мне ничего не взять.
Мелеют голоса, стираются обличья..
Что ж, молодость прошла, и дурака валять
постыдно так же, как искать себе величья!
Так строго думал я и поднимался в гору!..
И день перетекал в закат над головой,
и нитями туман тянулся по простору,
и коростель кричал в осоке луговой..
Еще, еще взглянуть
на глубину природы,
на близкую луну у кромки сосняка,
на осыпи камней, на сумрачные воды —
как бы в последний раз —
легко, издалека!..

...Взглянул. И вниз иду. Широкая прохлада
ударила волной от леса, от низин!..
Что ж, молодость прошла.

Но сожалеть не надо

о том, что в этот час
я знаю лишь один.

* * *

Не спится чудаку весенней ночью.
Он в валенках выходит на крыльцо.
Береза распускающейся почкой
из палисада тянется в лицо.
Повсюду — над угорами, лесами
и в облаке раскинутых ветвей
насыпано бесчисленными звездами,
одна другой кристальной и крупней!
И хочется ступить на темный воздух,
и зашагать неудержимо ввысь
над огородом в изгородях острых,
над избями, что в кучку собрались.
И дальние миры в потемках мая
на первый взгляд

не так уж далеки!

И Млечный Путь блестит, напоминая
недавний зимник около реки.
Как будто деревенские обозы
из розвальней, кошевок и саней
прошли гуськом по небу, и морозы
сменились теплой тягой с полей!..
И этой ночью, плотной и сырою,
грядущее волнует и томит!..
И как заснуть, когда над головою
вся глубина безмолвия гремит?!

* * *

Тяжелые сдвинулись тучи
и грянуло громом с небес.
И стало темно и дремуче,
где с полем стыкуется лес.
Под елью косматой, глухою
успел я укрыться, когда
накрыло стеной водяною
июльские наши места!..
Но лето есть лето. И снова
от просеки тянется шум
и бревна с повала лесного
трелевщик везет наобум.
Ломая сосновую молодь,
круша и сминая кусты,
ревет торжествующий молох
и рваные тянет следы..
А с края у поля горошка,
где шире блестят небеса,
лежит, как зеленая брошка,
прибитая льдом стрекоза.
Картечью хрустального града
пораненный, гнется овес.
Но нет на земле ни разлада,
ни даже намек на ложь.
Смолкает железное эхо
и снова кругом тишина..
Как будто рукой человека
природа не оскорблена.

* * *

Не пойте отвращение к жизни,
хотя причин тому не занимать!
И если смута бродит по отчизне,
то так и надо это называть.

Полей и недр угрюмо разоренье.
Ответчикам — ни срама, ни суда.
Но и над полной чашею терпенья
не разразись, проклятье,
никогда!

В СТЕПИ

Темной зелены зарастут озера.
Как и тысячи лет назад,
будут лошади посреди простора
табунком дремать, спрятав жеребят.
В длинных сумерках пронесутся птицы
над степной водой, где плеснул сазан.
На краю земли в облаках зарницы
будут ночь мигать молодым глазам.
И, как встарь велось, в этой светлой тьме
молодежь одна

долго и счастливо
будет ночь блукать от копны к копне,
от скамьи к скамье, обнявшись пугливо...
И опять в степи грянет гром цикад!
Темной зелены зарастут озера.
Хорошо глядеть, как вверху горят
семь огней ковшов посреди простора.

* * *

Даже бедное Черное море
драгоценной шумит бирюзой.
Даже в этом домашнем просторе
ощутим океан мировой.

Ну, а что говорить о великом,
о самом океане, когда
он встает ослепительным ликом
бесконечного снега и льда?

Или весь водяными горами
на скалистые горы идет
и, леса отрывая с корнями,
непонятную песню ревет?

Даже Черное море, сердчая,
бледно-серою галькой гремит
и толпу с побережья сметая
тяжко бьется в бетон и гранит!

А покой океана безбрежный
тем и дорог в загадке своей,
что почти умещается в нежной
завитушке ладони твоей.

* * *

Доступное сегодня и сейчас
недостижимым делается завтра.
И мудрость говорится только раз
не потому, что откровений жалко.
Остановивший камень над собой
назавтра и снежинки не удержит.
И там, где правда рядится святой,
там клевета
без ножика зарежет.
И побелеешь до корней волос,
но золотое правило возлюбишь,
но в этой жизни все наперекос,
пока слова
делами не искупишь.

* * *

Жизнь — это медленное скуденье
детского, юношеского удивленья!
Это стирание новизны
ошеломлявшей когда-то весны.
Это всего
позабыванье
и расставанье, и воздаянье
малому — хлебом,
старому — солью.
Реже радостью, чаще болью.
Как озаряется небо луной,
так голова — молодой сединой!
Юность мостит —
зрелость простит.
Жизнь — это медленный переход
из настоящего
в анекдот.

Владимир Иванов

ВИЗИТ

1

Забылись боли и тревоги,
и жить да жить бы ровно мне,
но взял сошел с пути-дороги,
завидев свет в твоём окне,
еще не зная, что приветят
меня столь поздней порой.
...И вот уж как бы нет поэта,
а есть лирический герой.
Герой блистательно играет
уже усвоенную роль.
Хозяйка умиленно тает:
какой явился принц-король!
Ну что же! Если разобраться,
герой на то он и герой,
чтоб упоенно увлекаться
извечной этою игрой.
Мы в нем заметим безусловно
черты героев многих стран,
в его богатой родословной
и Дон Кихот, и Дон Жуан.
Подобно им в своих мечтаньях
он черт-те что вообразит,
возьмет ударится в скитанья
и полстраны исколесит.
Как серый волк в пространстве рыщет
за Красной Шапочкой — тобой...
И оставляет пепелище,
мечты сжигая за собой...
На что тебе он только сдался?
Ты на него глаза раскрой:
каким он был, таким остался,
литературный наш герой.
Нет, не таким, чуть обознался!
Теперь он уж не тот орел, —
поизмельчал, поиздержался,
поблек престижный ореол.
В его карманах ветер свищет.
Не знает сам, куда спешит.

«Увы, он счастья не ищет
и не от счастья бежит»?..
Когда бы мог, я с ним расстался.
На что тебе такой он сдался?

2

— «На что! На что!» Пора б, приятель,
вопрос наивный позабыть
и рассуждать, как обыватель,
и даже хуже, может быть.
А я горжусь, что Дон Жуану
литературная родня.
Твои нападки, как ни странно,
не много значат для меня.
Да, я поблек, поиздержался,
поскольку в северной стране,
где я на горе задержался,
моя персона не в цене.
А ведь и ты, поэт, к несчастью,
в своей отчизне не в чести,
раз не стараешься у власти
благонадежность обрести...
Но нет, не роль я тут играю,
как ты подумал обо мне, —
от безысходности спасаю
тебя я в собственной стране...
Давай-ка препираться бросим,
прервем течение речей,
а лучше у хозяйки спросим,
из нас двоих ей кто милей.

3

— Не спорьте, мальчики! Вы оба,
признаться, очень хороши:
с одним согласна жить до гроба,
другой бесценен для души.
Да жаль вот, —
для души бесценный

земных не ведает забот
в толкучке нашей повседневной,
земных он песен не поет.
Другой, с кем я могла бы спеться
и жить в согласии, любя,—
тот, зная, с неутоленным сердцем
все ищет Музу для себя..

4

Я поражен!
Он вновь без боя
извечный подвиг повторил —
он заслонил меня собою
и сердце дамы покорил!

Ответ хозяйки чуть туманный
хоть деликатен, но суров:
не я, не я душе желанный!
Я третий лишний!..
И без слов
прочь, прочь по кочкам и по ямам,
закрыв неслышно двери в дом!..

Хромая плоскостопным ямбом,
«волнуясь сердцем и стихом»,
собак насевших разгоняя,
бреду домой
тропой кривой.
И вся Вселенная сияет,
как нимб, над бедной головой.

Яан Иенсен

ПРЫЖОК СМЕРТИ

Детективный рассказ

Начальник полиции городка на юге Норвегии погрузился в чтение какого-то донесения, когда к нему в кабинет ввели посетителя. Сопровождающий был молод и неопытен, и ему казалось, что угрюмое выражение лица делает его солиднее и старше.

— Извините, что помешал, шеф, но этот господин настаивает, он желает с вами поговорить.

«Настаивает»,— угрюмо подумал начальник полиции. А с чего этот козел взял себе в голову, что я так доступен? И это «шеф»! Когда он зарубит себе на носу, что меня зовут Эриксен?

Дружеским тоном, чтобы показать посетителю, что полицейский не только представитель власти, он сказал:

— Прошу, садитесь.

Посетитель уселся в гостевое кресло напротив письменного стола. Это был стройный брюнет лет тридцати, довольно привлекательный, если красоте не мешают сломанный нос и несколько мелких шрамов на лице. Начальнику полиции казалось, что он уже где-то видел этого мужчину. Посетитель успел сказать лишь: «Я явился, чтобы...», когда полицейский его прервал:

— Он хочет получить разрешение полиции, чтобы со скованными руками выпрыгнуть из самолета.

— И с парашютом на спине,— сказал посетитель.— Именно это, я думаю, довольно важно.

— С парашютом, который не раскрывается автоматически, а его нужно раскрыть самому,— проблеял полицейский.— Как мне кажется, это важно.

— Опасаюсь, мне придется попросить, чтобы вы рассказали все не торопясь, по порядку,— определил начальник полиции.

— В действительности это довольно просто,— пояснил посетитель.— Я хочу лишь попросить разрешения совершить прыжок с парашютом на заключительном празднестве ярмарки. Вечерами я там выступаю...

— Мне сразу показалось, что я вас где-то уже видел,— прервал начальник полиции.— Вы — Карера, фокусник.

— «Король трюков»,— поправил Карера, который, невзирая на свою иноземную фамилию, говорил на чистом диалекте Осло.

— Ну да, вы — тот самый, который освобождается из смиренных рубашек, вылезает из запертых сейфов и забитых гвоздями ящиков...

— И которому нужно не более нескольких секунд, чтобы освободиться от наручников,— сказал Карера,— на сей раз речь идет именно об этом. Меня попросили выполнить в воскресенье какой-нибудь особый трюк потому, что закрытие ярмарки покажут и по телевидению. Номер я каждый вечер показываю на сцене. Мне на запястья за спиной надевают наручники,

самого вдоль и поперек обвязывают цепями, концы которых запирают солидными амбарными замками, но не проходит и минуты, как я уже освобождаюсь от всего. Единственное отличие, что на сей раз я от всего освобожусь, когда на высоте нескольких тысяч футов выпрыгну из самолета. Я сниму наручники, чтобы суметь рвануть кольцо парашюта. Это гвоздь номера.

Начальник полиции наморщил лоб. Карера быстро продолжил:

— В действительности, риск отнюдь не больше, чем когда я выполняю то же самое на сцене. Прыжок с парашютом — только драматический эффект. Бог мой, я ведь не какой-то самоубийца! Я опытный парашютист и нимало не сомневаюсь, что успею сосчитать до десяти, когда одна моя рука уже высвободится.

— А цепи и замки? — спросил полицейский.

— Только бутафория! Чтобы рвануть за кольцо, мне нужна одна рука — и ничего более. Когда парашют раскроется, я спокойно смогу освободиться от всего остального. Цепи, по существу, не имеют никакого значения. Я мог бы прыгать и без них, но чтобы эффект был более впечатляющим, все же позволю себя обмотать ими.

— Значит, чистейшее надувательство? — определил полицейский.

— Если бы это было еще одно только надувательство, — сказал начальник полиции, — то не было бы никаких проблем. Но вам нужно освободить руку от железа, чтобы рвануть за кольцо. И это означает, что ваш трюк связан с большим риском. Можно даже сказать, со слишком большим риском.

— Знаете, — сказал король трюков, — я выполнял этот так называемый рискованный номер более двад-

цати раз во многих странах Европы, но впервые встречаюсь с трудностями при получении разрешения на демонстрацию трюков.

— Выдавала ли вам без каких-либо возражений разрешение и норвежская полиция?

— Прыжок смерти, как мы его называем, здесь, в Норвегии, я буду выполнять впервые, но я ручаюсь, что он вовсе не опасен. Я знаю, что делаю. Когда кто-то говорит: «А если тебе не удастся освободиться от наручников?», то для моего слуха это звучит столь же глупо, как вопрос Ингемару Стенмарку: «А если тебе не удастся надеть лыжи?»

— Принесите несколько пар наручников! — приказал начальник полиции.

Спустя минуты сомнения начальника полиции были развеяны. Пять раз полицейский защелкивал наручники на руках Кареры, и не проходило и десятка секунд, когда тот уже освобождался от них. Он оставил участок, получив разрешение выполнить прыжок смерти — на собственную ответственность.

— Ты пробыл там довольно долго, — бросила его жена Иоруна, которая ждала в машине.

— Вначале они были настроены довольно скептически, а потом все шло как по маслу, — Карера уселся рядом с нею, и она повела машину. Он продолжал: — Устроили проверку разными наручниками. Их беспокоило лишь то, чтобы зрителям на головы не свалилось несколько килограммов металлолома. Пришлось пообещать, что отпущу цепи, лишь когда буду над площадкой для приземления.

— Я по-прежнему больше всего беспокоюсь за тебя, — вздохнула Иоруна, — нет, нет, не говори ничего. Я знаю все твои аргументы. Но меня преследует постоянный страх с тех

пор, как ты рассказываешь о новом смертельном прыжке. У тебя ведь нет никакой нужды его делать, ты достаточно зарабатываешь другими трюками, которые неопасны.

Он ласково улыбнулся. Хотя с того момента, когда он почувствовал к этой женщине нечто, подобное любви, и прошло достаточно долгое время, улыбка была неподдельной. Они были женаты десять лет, и она уже стала для него привычкой — приятной привычкой. Она была привлекательной и яркой женщиной, хорошей помощницей как на сцене, так и вне ее. Жена занималась всеми практически ни вопросами — заботилась о его ангажементах, финансах, присматривала за тем, чтобы различный реквизит, который был необходим для трюков, всегда находился на своем месте. Она даже была способна предусмотреть то, что могли забыть другие, и уже заблаговременно к этому готовилась. Как в тот раз, когда импресарио захватил заказанную бутылку коньяка (Карера обычно перед выходом на сцену подкреплялся), но оказалось, что у Иоруны уже есть бутылка. Или как в тот раз, и это уже было куда важнее, — когда Карера думал, что самолет для исполнения смертельного прыжка разбудут устроители, а они, в свою очередь, думали, что об этой мелочи позаботится Карера. Тогда Иоруне удалось обворовать парней из военно-воздушной части и получить самолет еще до того, когда Карере и устроителям эта мелочь пришла на ум. Да, хорошо, что такая Иоруна рядом. То, что она не завораживала более Кареру, особого значения не имело. Сексуальное удовлетворение он мог получить и с другой женщиной.

— Я тебе клянусь всеми святыми, — сказал Карера, — что это будет мой последний смертельный прыжок. Сказано — сделано.

— Это ты уже говорил раньше, — пробормотала она.

— Лишь один раз, и тогда я действительно так думал. Но ты ведь сама видела, что Клаус меня вчера уговорил, и слышала, как я что было сил пытался отказаться...

— Пока он не повысил сумму до 25 000 крон, — добавила Иоруна.

— Ты не можешь не согласиться, что это огромная сумма за несколько минут работы. Никогда мне не предлагали такие деньги. Я не мог отказаться.

Но не из-за денег он наконец согласился. Однако правду Иоруне он не мог открыть.

— Ты мог отказаться, — продолжала Иоруна, — понятно, 25 тысяч денег большие, я вообще не понимаю, почему Клаус согласен платить столько за еще один яркий трюк на таком параде звезд. Без этих денег мы могли бы прекрасно обойтись.

Правда, подумал Карера. Ты тоже не понимаешь, отчего Клаус согласен платить так много за один, никому не нужный дополнительный аттракцион в том шоу. Я и согласился прыгать, чтобы получить ответ на этот вопрос.

Он вовсе не был таким спокойным, как старался выглядеть. Ни Иоруну, ни полицию он не оповестил об одном весьма важном факте: у человека, который заказал этот прыжок смерти, было много причин ненавидеть короля трюков Кареру.

Карера был знаком с Клаусом уже много лет, но страху тот на него нагнал лишь несколько дней назад. И когда Клаус выдвинул это подозрительно щедрое предложение, страх этот всецело завладел им.

Клаус Туресен был импресарио. Он обеспечивал развлекательные программы для ярмарок. Промышленники и торговцы заботились о доставке товаров, Туресен отвечал за аттракционы,

которые должны были привлекать людей, не слишком интересовавшихся выставленными товарами. Карера был словно пластырь, который накладывали на больное место, и Клаус годами его использовал. Отношения между ними всегда были добрыми, до того времени, когда в поле зрения Кареры не очутилась Моника.

О Клаусе Туресене можно было сказать много чего хорошего, но Бог отнюдь не избрал его любимцем женщин. Он был плешив, маленького роста, с конопатым простоватым лицом. Карера подозревал: Клаус избрал шоу-бизнес в надежде, что успехи в этой области позволят ему наслаждаться Сладкой Жизнью. Певички с маленьким голоском и большими амбициями могли быть ласковыми и нежными, улещали Клауса. Они охотно позволяли Клаусу на них тратить, но всегда исхищрялись смуться задолго до того, как надо было ложиться в постель. Так что Клаусу приходилось искать утешения в других лакомствах — кулинарии, и теперь у него в сорок лет было добрых двадцать килограммов лишку, не говоря уж об остальных недостатках.

Поэтому Карере трудно было скрыть свое удивление, когда Клаус, хвастливый, как петух, представил Монике ему и Иоруне, сказав:

— Вы, очевидно, еще не знакомы с моей женой.

Моника была ослепительно красивой блондинкой, по меньшей мере лет на пятнадцать моложе своего мужа, и Карера вскоре сообразил, что она отнюдь не олицетворенная наивность, вообразившая, что Клаус — это Карло Понти, который делает ее в скором времени кинозвездой. Она была интеллигентна, самоуверенна и осознала на все сто, чего стоит. Хотя она то и дело преданно поглядывала в сторону новоиспеченного мужа, не было никаких сомнений, что она не

питает к нему особо нежных чувств. И это могло означать единственно то, что Клаус теперь серьезно примется делать деньги.

Первая встреча Кареры с Моникой совпала с днем открытия ярмарки и длилась лишь несколько мгновений, но этого было достаточно. Оба они были опытными охотниками, и тотчас же отлично поняли друг друга. Одиной другой намек, несколько тайных знаков, проскользнувших в незначительной болтовне, — и им стало ясно, что эта ярмарочная неделя отнюдь не будет для них из худших. Желторотый Клаус ничего не замечал, он лишь стоял, разинув рот, и блеск его жены служил ему зеркалом для самолюбования. Как сказала Моника, когда им удалось, никем не замеченными, тотчас же после церемонии открытия ярмарки оказаться в домике кемпинга:

— У Клауса не появится никаких подозрений, если он даже застучает нас на месте преступления.

На сей раз она недооценила своего мужа.

Уже на следующий день он застал их врасплох на месте преступления.

Он не сказал ни слова, лишь стоял в дверях домика и ошелоленно глядел на них. Моника заметила его первой, и ее сдавленный крик заставил Кареру повернуть голову. У них не было ни малейшего представления, сколько простоял там Клаус, но это уже не имело значения. Клаус увидел достаточно много.

Все молчали, так как не было о чем говорить. Клаус, понятно, многое мог сказать, но он тоже молчал. И когда он отвел взгляд от Моники и посмотрел на Кареру, в его глазах пылала нескрываемая ненависть. «Тебе, которому доступно все, значит, захотелось повеселиться с моей единственной», — прочел Карера в его взгляде.

Затем он повернулся и ушел.

Моника и Карера быстро оделись.

Моника — чтобы догнать мужа, Карера — чтобы отправиться в свой домик кемпинга. Он не чувствовал себя особенно приятно. Не от того, что так уже боялся Клауса, просто все это могло повредить его карьере. Импресарио с известным влиянием отнюдь не тот человек, которого можно дразнить.

На следующий день Моника исчезла. Несколько музыкантов, шедших поутру домой, увидели ее с чемоданом в руке, когда она направлялась в сторону автобусной остановки. Они рассказали одному жонглеру, что Моника выглядела совсем убитой, а жонглер, в свою очередь, обо всем этом передал Карере. «Семейный скандал, я думаю», — заметил жонглер.

Карера не знал, отослал ли Клаус Моника домой в Осло, чтобы держать на безопасном расстоянии от любовника, или же этот неожиданный отъезд означал, что браку поставлена точка. Ему надо бы сообразить, что такая женщина, как Моника, не может выйти замуж за него, Клауса, по любви. Ему уже с самого начала надо было понять, что небольшая неверность со стороны Моники была своего рода платой за приобретение им такого символа благополучия. По меньшей мере, так думал Карера.

В последующие дни он лишь изредка встречал своего импресарио. Было совершенно ясно, что Клаус избегал его. А раз-другой, когда им было необходимо обменяться несколькими словами, Клаус был сдержан и официален, чуть ли не враждебен. О происшедшем не упоминалось ни словом. «Королю трюков» казалось, что Клаус не будет более его ангажировать, чем все и окончится.

Так казалось ему до тех пор, пока Клаус в один прекрасный день не появился в кемпинге, в домике Кареры и Иоруны, переполненный энтузиазмом и оптимизмом. Чтобы уговорить Карера выполнить его знаменитый пры-

жок в день закрытия ярмарки. Именно тогда «король освобождения уз» начал понимать, что он приобрел в Клаусе смертельного врага, такого, который не удовлетворится чисто символическим мщением. Пока Клаус пускал в ход свои блестящие ораторские способности, а Иоруна молча слушала, Карера лихорадочно думал. Впрямь ли возможно, что Клаус решил его прикончить? Что он сделает, чтобы смертельный прыжок действительно стал смертельным? Спутает парашют, чтобы тот не раскрылся? Испортит наручники, чтобы Карера не мог освободить руки? Или же сыграет какую-то шутку с замками, которые соединяют цепи?

Нет, здесь не было ничего опасного для жизни короля трюков. Он сможет приземлиться, даже не освободившись от цепей. Карера быстро взвесил про себя всю процедуру. Нет, только парашют и наручники могут нести в себе опасность. Если Клаус действительно лелеет планы убийства, ему надо испортить один из этих реквизитов. И тогда человеку, который осознает реальную угрозу убийства, совсем просто принять контрмеры.

Действительно ли Клаус стремится лишить меня жизни? Если я откажусь прыгать, мне придется жить в незнании. У меня не будет никаких возможностей предусмотреть, когда и где он попытается меня прикончить. Останется вечный риск, что меня однажды ночью переедет автомашина или же в спину попадет заряд картечи. И все это может произойти спустя неделю, месяц, год.

А вот если я соглашусь, мои подзрения совсем скоро подтвердятся или же не подтвердятся. Ибо, если он не попытается использовать прекрасную возможность, чтобы разыграть несчастный случай, это будет означать, что он вообще не думает убрать

меня. Но если он попытается, то я позабочусь о том, чтобы это осталось лишь попыткой.

— Двадцать пять тысяч,— услышал он предложение Клауса,— мил человек, ты ведь не можешь отказаться от таких денег!

— Наверное, не смогу,— ответил Карера.

Когда Клаус уходил, он излучал такое удовлетворение, что по спине Кареры пробежали мурашки.

Утро рокового дня принесло отличную погоду, и в лицо Иоруны, одетой в халат, ударил сноп солнечных лучей, когда она открывала дверь домика в кемпинге. Она недовольно поморщилась.

— Я надеялась, что по погодным условиям самолет не сможет лететь,— бросила она.

— Успокойся, детка,— сказал Карера, который уже оделся.— Я тоже надеюсь, что все будет в порядке.

Он пошел к машине и чуть погодя вернулся с большим свертком под мышкой.

— Парашют,— сказал он, отвечая на немой вопрос Иоруны.— Совершенно новый, который мне любезно одолжили в местном клубе парашютистов. Я его сам уложил, и никто кроме меня к нему не притронется.

— Но у нас ведь есть свой.

— Он уже старый и изношенный.

Она внимательно изучила выражение лица Кареры.

— Только не рассказывай мне, что ты не нервничаешь.

— Немножко,— нехотя признался он.— Верней сказать, что я немножко больше... Немножко больше...— он никак не мог подобрать нужное слово.— Я хочу сказать, что это, определенно, будет мой последний прыжок смерти... И было бы совсем глупо, если бы у меня в самый последний раз все пошло наперекосяк, не правда ли?

— Ты все же сильно нервничаешь,— сказала она. Карера не возразил.

— Ты знаешь Клауса столь же хорошо, как и я,— он внезапно стал говорить о чем-то другом,— и знаешь, насколько он привередлив. Вечно ему нужно во все совать свой нос, надо ощупать даже музыкальные инструменты и реквизиты фокусников, словно он эксперт во всем этом, и хочет убедиться, что все в порядке! Помнишь, однажды он таким образом испортил трюк иллюзиониста — в тот раз, когда его механизм совсем не ко времени заклинило. И это было после того, как Клаус провел свой контроль «эксперта». Поэтому мы подложим старый парашют, чтобы Клаусу было чем играть, если он пожелает все проверить. Если он появится, когда меня не будет, позволь ему покопаться, только и словом не обмолвись, что я буду прыгать с другим парашютом.

— Хорошо,— сказала Иоруна.

— То же самое касается и наручников,— продолжал Карера.— Пусть он возится с теми, сколько душе угодно. Я надену другие, которые мне заняли в полиции. Они в машине.

Затем он оставил домик кемпинга и час-другой бродил по базару. Когда он возвратился, Иоруна лежала в бикини на пледе рядом с дверью и загорала. Она сказала: «Клаус час назад был здесь».

— И ты позволила ему поиграть? — переспросил Карера деланно равнодушным тоном.

— Да, с теми штучками, которые лежали под рукой. Между прочим, он не трогал парашюта. Удовлетворился наручниками и висящими замками. Я все время была здесь же.

Карера с трудом улыбнулся. Он сказал:

— Я немного перекушу. Сегодня еще не завтракал.

Едва закрыв дверь, он бросился к

наручникам и замкам и тщательно их проверил. Иоруна права: принадлежности эти не были испорчены. Карера даже не понял, удовлетворен ли он, или обманулся в своих ожиданиях. Самое лучшее было бы убедиться, что Клаус не желает его прикончить, но этого ведь нельзя с полной уверенностью утверждать, пока он, живой и здоровый, не опустится на землю. До этой минуты ему надо оберегаться, не упустить ни малейшей мелочи. Мгновенная невнимательность могла стать для него роковой.

Время тянулось со скоростью улитки, а Карера, нервничая все сильнее и сильнее, выдвигал одну за другой самые различные варианты возможного убийства и тотчас же отбрасывал их. Понятно, Клаус не осмелится испортить самолет — он ведь не пойдет на то, чтобы лишить жизни пилота, двух помощников и целую съемочную группу телевидения лишь потому, что желает отомстить одному человеку. Он же не попытался притронуться к парашюту или наручникам. Но, черт подери, что у этого человека на уме — если он вообще решил что-то сделать?

Около четырех, за час до того, когда самолет должен был подняться в воздух, к Карере подошел жонглер, его старый знакомый. Карера сидел в раскладном кресле у домика кемпинга и непрерывно курил. На лице жонглера явственно читалось виноватое выражение.

Без какого-либо предисловия он бросил:

— Да, до тебя ведь, очевидно, дошли слухи?

— Какие слухи?

— Почему Клаус и Моника так быстро развелись.

Карера замер, а затем быстро осмотрелся, чтобы убедиться, что Иоруны нет поблизости. Слава Богу, она стояла на изрядном расстоянии и болтала с каким-то полицейским.

— Эти слухи к нам еще не дошли, — ответил Карера.

— Как же иначе, слухи всегда приходят последними к тем, кого они касаются, — ухмыльнулся жонглер.

Карера наморщил лоб.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Кое-кто утверждает, что кое-что видел. Но если ты не понимаешь, о чем я говорю, то они, наверное, ошибаются.

Сказав это, жонглер ушел.

Карера выругался про себя. Неужели кто-то видел его с Моникой. Быть может, даже был свидетелем тому, что их прихватил Клаус. Видел, как разъяренный Клаус выбежал из домика, а следом за ним перепуганная Моника и сникший Карера...

Внезапно ему стало ясно: если и Клаус узнал об этих слухах, он, очевидно, отказался от любых планов убийства. Он ведь неглуп, ему надо бы сообразить — если с Карерой произойдет теперь несчастный случай, то всем это покажется подозрительным.

— Не время ли начать пошевеливаться?

Карера вскочил. Он так глубоко задумался, что не заметил, как Клаус подошел совсем близко. Он посмотрел на часы и кивнул.

— Наверно, пора.

Быстро поцеловав Иоруну в щеку, он положил парашют и остальные необходимые для трюка принадлежности в машину и сел за руль. Клаус уселся рядом. На заднем сидении были двое ассистентов. Один из них — полицейский в форме, который должен был гарантировать подлинность трюка. Во время поездки именно Клаус заботился о том, чтобы разговор в салоне машины не иссяк. Он был в приподнятом настроении и вовсе не был похож на человека, который плетет мрачные интриги. Карере уже стало казаться, что ему, как гово-

рится, видятся привидения среди бела дня.

— Есть у кого-нибудь возражения, что я тоже буду находиться в самолете? — спросил Клаус, когда все они направились в сторону самолета, в котором уже разместились съемочная группа.

— Помилуй Бог, конечно нет! — ответил Карера и подумал про себя: «Это доказательство тому, что с самолетом все в порядке».

Спустя четверть часа они уже кружили над ярмарочной площадью. Внизу кишмя кишели люди, трудно сказать, благодаря ли прекрасной погоде или же обещанному смертельному прыжку. Карера махнул оператору, и под жужжание камеры полицейский и второй помощник стали накручивать цепи на «короля освобождения от уз». Они потренировались уже заранее и наловчились обматывать его так, чтобы правая рука не была связана. Навесные замки защелкнулись. Полицейский завел Карере руки за спину и застегнул наручники. Клаус, который стоял у камеры и наблюдал за всем, воскликнул:

— Кончай снимать!

И тогда он вышел вперед с рюмкой коньяка в руке.

— Пятьдесят грамм, — бодро сказал он. — Твоя обычная норма.

И Карера понял.

Клаус знал, что никто не будет искать следы яда в человеке, который разбился, прыгая с парашютом. Сам

парашют, очевидно, тщательно проверят, а также замки и наручники, но кому придет в голову вскрыть труп, чтобы определить причину смерти, если причина очевидна.

Нет, определенно Клауса голой рукой не ухватишь.

Карера, улыбаясь, покачал головой.

— Спасибо, но не на этот раз.

Клаусу не удалось скрыть свое разочарование.

— Но ведь ты всегда...

— Перед тем, как выйти на сцену — да, но не тогда, когда прыгать из самолета. Голова должна быть совершенно ясной.

Клаус видел, что уговоры не помогут. Он вернулся на свое место за оператором и как бы случайно опрокинул рюмку, так, что ее содержимое вылилось в открытый люк. Доказательство того, что коньяк предназначался только для Кареры.

Карера стал спиной к открытому люку, камера снова начала жужжать, «король трюков» махнул полицейскому, и тот вытолкнул его в люк. «Клаус проиграл», торжествуя подумал Карера, освобождая правую руку. «Он пытался, но потерпел поражение. И теперь будет у меня в руках!»

Карера рванул кольцо.

Парашют не открылся. Парашют, который так долго находился наедине с Иоруней.

Слишком поздно Карера понял, что в этом деле были замешаны двое обманутых супругов.

Михаил Анохин

ЗАБАСТОВКА. ТЕХНОЛОГИЯ НАДУВАТЕЛЬСТВА

В июле 1989 года стояла такая сушь! Как сказал о лете 994 года летописец: «Сухмень велика и знойно добре». Небо выпцвело от зноя, все лезло в тень. Вот и я проводил время в тени на лавочке под окнами урологического отделения горбольницы. Окна операционного отделения урологии были завешены тройным марлевым занавесом, и этот занавес тяжело вздыхал, вздуваясь пузырями то внутрь помещения, то наружу. Мне предстояло со дня на день побывать там, впрочем, это был путь известный.

Кажется, Лев Толстой говорил: не смерть страшна, а страх перед смертью. Мне сама по себе смерть не представляется чем-то ужасным, непереносимым. Мгновенный переход из бытия к инобытию — что ж здесь такого? Я уверен, что не только в памяти близких обретает свое инобытие человек после смерти, но мир, в том числе и сам человек, устроен настолько сложно, что любая из существующих попыток объяснить феномен жизни, а мыслящих форм жизни в особенности, представляется мне не только дальним подступом к построению более или менее приемлемой гипотезы о Бытии.

Боюсь растянутого во времени страдания, особенно страдания в состоянии беспомощности. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что страдания облагораживают душу человеческую. Тот, кто не изведает боли, тот не может считаться полноценным человеком.

Со мной могут не согласиться, но это всего лишь личный опыт. Я говорю только то, что я через свою боль многое понял. Что меня страдания возвышают или, скажем так, делают благороднее. Хотя моя «благородность»

кому-нибудь может показаться хвастовством. Но это мое мнение, а здесь я принял за правило говорить так, как я думаю, не стараясь показаться не только лучше, чем я есть, но и хуже тоже.

Конечно, это не христианское смирение, поскольку я слишком испорчен псевдосознаниями, чтобы стать верующим христианином или буддистом. Наверное, о таких, как я, сказано: «Ни богу свечка, ни черту кочерга». Короче, не отрицая существование некоей субстанции, определяющей личность человека после его смерти, я не нахожу полного удовлетворения в христианском понятии ДУША, возможно, только по своему невежеству.

В 1985 году, в этой же операционной, ныне занавешенной марлей и поджидающей мое тело, я очнулся и с ужасом ощутил свою неспособность самостоятельно дышать. А до этого меня не «взял» наркоз, и я услышал команду хирурга: «Ну что, приступим? Переворачивайте на правый бок», — и вдруг что-то стало надуваться у меня под боком, изгибая мое тело на столе. Затем почувствовал, что на операционное поле льют какую-то «холодящую» тело жидкость, потом огненная боль потушила мое сознание.

Все это померкло перед ужасным сознанием того, что я разучился дышать. Я не умею дышать! Как же это делается?! Почему раньше мне не нужно было знать, как это делается?!

Сестра, зайдя за мою голову, массировала мне что-то под подбородком, и именно это позволяло мне иногда вздохнуть, потом ее руки уходили, и я снова не мог вздохнуть,

задыхался... Нет, не задыхался, поскольку не было характерных спазм, когда человек задыхается! Я просто не дышал, а сердце вырабатывало остатки кислорода, или же мне так казалось в эти минуты. Ощущал ли я страх? Наверное, и страх. Если и ощущал, то совершенно не похожий на тот, который посещает здорового человека при мысли о смерти.

И уж совсем не похож на страх за близкого человека, особенно за ребенка. Я бы назвал его страхом беспомощности. Нечто подобное я ощутил в молодости, когда при ремонте дорожного катка подвешенный вагончик вдруг сорвался и ударом о бетонный пол отрубил мне безымянный палец на правой руке, точнее — ногтевую фалангу. Это был страх, к которому капельной дозой привыкал и стыд.

В мозгу проносились фразы: одна за одной — как мольба, как молитва: «Да не бросай же ты мой подбородок! Я не могу дышать без твоих рук! Разве не видишь, как мне тяжело?! Ну что же ты? Видишь, как уже долго я не дышал?!»

Вся моя нервная энергия уходила на то, чтобы суметь дать понять: я разучился дышать. Но, увы, более или менее внятно я смог сказать, правда, шепотом, уже другие слова лишь часа через два, когда я вспомнил, как это делается — дышать! И это было великое открытие! Но тогда я замерзал и о том были мои первые слова.

...Такие невеселые мысли одолевали меня на лавочке, напротив урологического отделения городской больницы Прокопьевска, где в июле 1989 года я находился на дневном стационаре и обследовался на предмет операции по поводу извлечения камня из почки. В ней, оперированной несколько лет назад, уже вырос новый камешек.

Тут же, на этой лавочке, я и услышал весть: шахтеры Прокопьевска поддержали забастовку в Междуреченске и вышли на площадь. До этого я слышал только о том, что шахтеры шахты имени Шевякова, престо-

вав полтора суток, удовлетворенные, приступили к работе.

Как оказалось, это хорошо отработанный прием управления народом, — через средства массовой информации. С этим пришлось столкнуться вплотную, уже работая в стачкоме.

Бесценный материал о фактической стороне дела содержится в городской газете «Шахтерская правда». Те номера стали, по сути, летописью забастовки.

В пятницу, 14 июля, прокопчане получили газету с такой информацией: «12 июля в третью смену горняки второго района шахты имени Калинина не спустились в забой, вывесив лозунг «Поддержим шахтеров Междуреченска!» А вчера в первую смену не вышли на работу шахтеры «Центральной», «Красного углекопа», шахт Калинина, Ворошилова, «Ногрградской». Поддержали междуреченцев и другие угольные предприятия». И далее: «Пассажиры трамвая на остановке «Шахта Прокопьевская» вставали с мест и смотрели в окна, удивленные необычайной картиной: вся площадь перед шахтой была заполнена шахтерами в рабочей одежде и уже в чистом. Одни сидели и лежали в тени под деревьями, другие стояли у импровизированной трибуны, с которой выступал народный депутат СССР В. М. Ильин. О чем говорили?»

Почему в нашем городе приходится полтора килограмма сахара на талон, а в Москве — три? Чем там люди лучше?

— Мужики, я с шахты имени Калинина. Мы сейчас были на «Красном углекопе», «Центральной», шахте Ворошилова. Все бастуют. Мы должны объединиться, не сидеть каждый в своей закутке, а выработать единые требования. От каждой шахты избрать человек по десять делегатов, и всем поехать в Междуреченск, поговорить с шахтерами, пригласить министра к нам».

А вот вам официально запротоколированная ложь: «Генеральный директор «Прокопьевскгидроугля» (потом председатель облисполкома М. Найдов) сказал, что некоторые требования уже выполнены, например, город будет снабжаться продуктами по первой категории» («Шахтерская правда»).

Итак, забастовка в Прокопьевске началась 12 июля.

Вначале я воспринял эту информацию спокойно, видимо, предстоящая операция вытесняла из меня все внешнее, затем, помимо моей воли, или даже вопреки ей, меня стало охватывать беспокойство.

Я стал проситься выписать меня из больницы — в случае чего, мол, «скорая» привезет! Я еще что-то приводил в пользу того, что мне нужно быть на площади, что это мой долг, моя обязанность, что я столько лет в стихах, в статьях призывал граждан к решительным поступкам, что именно сейчас, когда все так зыбко и сложно, не быть с теми, кто на площади, — предательство.

Убедил! Да и что толку оперировать человека, когда он психологически не готов? Если его обуяла жажда иного?

Это было, если не подводит меня память, на второй день забастовки.

Бастующая площадь дала знать о себе километра за два! Слитный гул и страстная речь из радиоусилителей. Сердце колотилось так, будто мне семнадцать лет, и я иду на свидание, в моей голове обрывки фраз, мысли скачут.

То я думал о том, что я буду делать там, на площади, то мелькали какие-то заготовки будущей моей речи, обращенной к шахтерам. Ни одна мысль не додумывалась до конца, в том числе и такая: всех нас, кто будет на площади, похватают. И, тем не менее, у меня было более чем праздничное настроение!

Может быть, оно сравнимо с тем, когда острая, мучительная боль вдруг покидает тело, и ты, удивленный, замечаешь, насколько красив этот мир! И радуешься самому обыкновенному цветку, облаку, ночной звезде, человеку.

Была, была надежда, что эта забастовка вылечит изболевшую душу и она облегченно вздохнет, избавившись от гнета марксистско-ленинской идеологии.

Значительно позже в передаче по Центральному телевидению, я сказал, что у нас,

в Сибири, в случае затяжной болезни, человека окунали в прорубь: если жить — выживет, а если нет — то незачем мучить человека, пусть «уйдет».

Немало я получил впоследствии писем от телезрителей — больше таких, где меня обвиняли чуть ли не в бесчеловечности. Мне думается, бесчеловечно длить страдания, если исход предрешен.

В конце концов, постоянно оживлять труп — бесчеловечно.

Реанимация социализма, в которой преуспел нынешний Президент, — это и есть бесчеловечный акт! Так «жалеючи» тащили два часа зуб у больного в известном анекдоте! Так «жалеючи» — по частям отрубали хвост у собаки.

Оказывается, как мало нужно для популярности человека — показали по ЦТ — и все! То, что ты говорил там вещи в общем-то обыденные, всем известные да еще изложенные не лучшим образом, что из того? Само твое появление на «голубом экране» есть факт, удостоверяющий высокий уровень твоего интеллекта. Дурака, мол, не покажут!

В обыденной жизни человек может высказывать глубочайшие суждения, обладать выдающимися прогностическими способностями, но в мире, где господствует государственная религия, не это суть важно.

И чуть упоминание о нем в прессе или по телевидению — это сигнал: считать ли его мысли здравыми или, наоборот, нелепыми.

Отсюда обывательская растерянность в связи с появлением газет, журналов, каналов телевидения, не исповедующих общую государственную религию: кому верить?

Не знаю, сколько писем получило Центральное ТВ на серию передач «После стачки», но я получил множество.

Одно из них приведу полностью. Это письмо из Пермской области, от пенсионерки М. Ковиной.

«Организаторам забастовок, всем забастовщикам Кузбасса пишу. Не знаю, как обстоят дела сейчас, но после просмотра двух телепередач «После стачки» решила написать. Лаяться (слова рабочего стачечника из телепередачи) вы, действительно, умеете, но

ни самосознания, ни чувства долга перед народом, перед страной у вас нет. Я за то, чтобы торжествовала справедливость, чтобы рабочие чувствовали себя действительно хозяевами в своей стране, на рабочем месте, но вы (с заглавной буквы не пишу, т. к. никакого уважения к вам не испытываю) в своих требованиях (повышение цен на уголь, закрытие нерентабельных, с низким содержанием угля, шахт) показали свои рваческие замашки. Вы плюете на то, в какое положение вы ставите страну, народ, тех шахтеров, шахты которых предлагаете закрыть. Вы ничем не лучше брежневских заправил — они тоже строили себе благо за счет других. Вас, видимо, устраивала брежневская политика (урвать можно было у государства), а сейчас, когда правительство решило сделать рабочий класс своей опорой и сделать его труд свободным, вы оказались самым настоящим ничтожеством и не лечит вы собрались страну. Давно уже никто ни в Сибири, ни в Америке не лечит своих детей окунанием в прорубь и вы тоже не лечите их так, а бережно несете в больницу, а страну свою, Родину, хотите окунуть в прорубь. Сейчас вы орете, что у вас не хватает вагонов, а вы забыли, сколько стояло у вас порожняков, когда вы бастовали, а они так нужны были в других местах, так что нечего вам возмущаться сейчас.

Письмо прошу довести до шахтеров. М. Ковина — пенсионерка. Б/партийная, в преддвухах не сидевшая.

Я вышел на Театральную площадь со стороны кафе «Иверия», в котором, кстати говоря, от Кавказа есть единственное — деревянное панно из сибирского кедра с изображением танцующих лезгинку грузин.

От огромной черной массы, стоящей около трибун, отрывались отдельные группы.

Теперь уже четче и яснее слышно, о чем говорят на трибуне:

— Дальше так работать и жить невозможно, нет ни заработков, ни здоровья, ни нормальных условий для жизни наших семей.

— Недодашь до плана каких-нибудь 50 тонн угля — «летит» премия, надбавки. Ведь через десять лет работы под землей чуть ли

не каждый горняк приобретает себе вибрационную болезнь, которую почему-то ни один медик не решается назвать профессиональным заболеванием.

— Мафиозные структуры захватили власть в городе! Честные люди преследуются! Суды не возбуждают уголовных дел о преследовании за критику!

— Ребята, нужно проверить квартиры торгвых чиновников!

— Не слушайте, это провокация! Нас пытаются толкнуть на разбой и грабеж! С тем, чтобы потом подавить наше выступление танками, это уже было!

— Мужики, тут всякие шныряют, будьте внимательны, а то можно здорово влипнуть, никакой политики. Мы за советскую власть.

— Почему нет на трибуне городских властей? Почему горком партии спрятался?

— Мужики, на горком партии не катите телегу, они с нами, они нам помогают.

— Шахтеры, милиция с вами, мы никогда не пойдем против вас.

Небольшой сухонький мужичок от имени ветеранов войны и труда со страстью Сахаровы обличал местные власти, и приводимые им факты завораживали многотысячную толпу.

Впоследствии судьба сведет меня с ним и, соединив вначале, разведет по разные стороны баррикад. А потом он скажет о себе так: «Старый дурак, но кто бы мог подумывать?!»

Слова эти относились к бывшему председателю городского рабочего комитета, ныне народному депутату России В. Маханову.

Действительно, кто бы мог знать, что темные силы будут использовать лидеров рабочих комитетов в своих целях? В июле 1989 года мы были слишком чисты и невинны в своей основной массе, чтобы побеждать в политических схватках. Нашими руками таскали каштаны из огня многие — начиная от хозяйственников, кончая партаппаратом, все те, кто подмял под себя народ, воссел на нем, как монгольский хан на поверженных противниках.

В черный уголь рабочих роб вплелись кофты и платья шахтерских жен.

На подходе к площади мне встретился мастер с нулевого цикла домостроительного комбината (ДСК). Увидев меня, он вскричал: «Анохин, иди, выступи, задай им! Расскажи о строителях! Все расскажи!»

Я, действительно, очень хотел и «задать», и «рассказать», почему-то думал, что стоит мне рассказать тысячам людей СВОЮ правду, как сразу что-то хорошее произойдет.

Разве не ясно было мне тогда, что в мире, покинутом богом, слово не является глаголом, то есть действующим началом. Слово в мире, покинутом богом, импотентно!

Расстрелянный в застенках Петроградского чека поэт Гумилев сказал так об этой импотенции: «В оный час, когда над миром носым Бог лицо свое склонял, тогда: Словом останавливали солнце, Словом разрушали города».

Впоследствии товарищи по работе упрекали меня в том, что я, будучи в рабочем комитете представителем от них, не сумел ничего для строителей сделать.

Глубокой осенью 1989 года в конференц-зале ДСК слушал предъявляемые мне претензии, и в глубине души зарождалась вина. Будто я, пройдя через лес-бурелом, вышел к «складу благ», а самого склада не разглядел, а если и разглядел, оказался корсору и ленив, не набил своего заплечного мешка благами. Зачем же вообще-то ходил? Ведь мне же платили. В конце концов, мне верили. Я изгонял из себя образ «клада благ», понимая всю смехотворность его, но азарт претензий ко мне опять воскрешал этот образ. Мол, министры могут, да не желают дать, а у тебя не хватило воли и умения вырвать у них эти «блага».

На самом же деле рабочие комитеты дошли до конца леса-бурелома, тайги дремучей, но там, за ее пределами, оказалась пустая государственная казна и ворох пустых протоколов-обещаний. «Склад» имелся — но начисто разграбленный партократией, более того, мы оказались вынуждены оплачи-

вать все займы, сделанные партократами от нашего имени в других странах, поскольку партократы, исповедуя социалистический способ производства, имели неутолимую тягу к продуктам и товарам, произведенным в «затнивающим мире капитала». Это вполне сочеталось с так называемой коммунистической моралью. Бог их религии позволял лицемерие.

Тем не менее, я продолжал попытки «вырвать» хоть что-то для строителей. В 1990 году я работал с комиссией Л. Рябьева. Для протокола согласованных мер, который так драматически скончался в воскресенье января двадцать первого в Кемерове, я сумел «выторговать» две льготы для двух строительных профессий. А надеялся на многие льготы для десятка профессий.

На трибуну, где, как я понял, находились лидеры забастовки, я с ходу не сумел попасть, видимо, обличье мое показалось дежурившим на обоих «крылах» трибуны не шахтерским и явно провокационным. В этот остаток дня я потолкался возле трибун, искал безуспешно знакомых, которые могли бы меня представить «высокому» забастовочному начальству и поручиться в моей приверженности идеям демократии. Увы, таких не было!

Пыл мой, как это бывало не раз при встрече с действительностью, весьма поубавился. Появилось смутное ощущение того, что дело забастовки УЖЕ в чьих-то знакомых руках. Я полагаю, что многих сочувствующих рабочим людей умственного труда оттолкнуло от тесного сотрудничества со стачечным комитетом именно то, что у меня только «ба-рахталось» в глубине подсознания.

Тот самый «бог вдохновения», который поставил меня покинуть горбольницу, мало-помалу оставлял меня. Все было не так, как мне представлялось. Не то говорили с трибуны, хотя все, что ни говорили, на 99% было правдой.

Не представляю себе более опасного инструмента восстановления справедливости, чем насилие! Именно на этом «сварились» боль-

шевики после военного переворота 17-го года!

Трагедия борьбы Правды с Неправдой в том и состоит, что сама борьба подразумевает некий акт насилия, пусть минимально, а насилия, какое бы оно ни было, есть животворная почва для Неправды.

По всей вероятности, нам предстоит столетний путь восхождения к осознанию истин, сформулированных Ганди, Толстым,—непротивления злу насилем, а нынешняя наша задача состоит в том, чтобы в результате Добро пошло бы на достижение цели, то есть Добра пошло бы на достижение Цели чуть больше, чем Зла.

Эта разница и есть показатель того, движется ли общество к Добру и Правде или, напротив, к Неправде и Злу.

В Прокопьевске линия противостояния пролегла между басгующими и начальниками торговых организаций. В первую очередь, завгортгортделом С. К. Поползиной.

В документе, озаглавленном: «Протокол о согласованных мерах между городским статечным комитетом города Прокопьевска, ГК КПСС и исполкомом городского Совета народных депутатов» от 18 июля 1989 года в пункте № 17 сделана следующая запись: «Выразить недоверие председателю городского комитета народного контроля тов. Васильеву В. И., заведующей отделом торговли горисполкома тов. Поползиной С. К., заместителю начальника орсса «Кировуголь» тов. Пищиковой В. И., начальнику орсса торговли промтоварами тов. Баяджану Г. Г.»

Может показаться странным, что требовалась отставка зам. нач. орсса, а не начальника, но ларчик открывался просто: непосредственный начальник пищевой тов. Будаев находился под следствием по так называемому «Автомобильному делу» (Дело о спекуляции легковыми машинами). Прокуратура не раз прикрывала это дело, уводила от ответственности Будаева. Поэтому требование возобновить расследование по факту спекуляции легковыми машинами было за-

писано отдельной строкой в цитируемом «Протоколе...»

Нам, то есть рабочему комитету и мне лично, представлялось, что пресловутый Закон о равной ответственности взяткодателя и взяткополучателя, возводящий в ранг Права круговую поруку, не позволил собрать достаточно улик против Будаева.

По моему глубокому убеждению, этот Закон был разработан в недрах госпартаппаратной мафии. Это было мощное оружие против андроповского наступления на гниющие устои социалистического общества. Он связал единой цепью и палача, и жертву.

Стрелочники в очередной раз оказались виновны. Но, думаю, и они «замолчали» не бескорыстно. Когда, по поручению городского рабочего комитета, я совместно с Верещагиным, тоже членом рабочего комитета, вздумал побеседовать с одной из подсудимых по этому делу, Хасимиевой,—прокурор по надзору из Новокузнецка, где находилось СИЗО, встал грудью и не «допустил...»

Нам не удалось использовать «утечку информации» из следственных органов с тем, чтобы «припереть» их к стене. Так было и в дальнейшем. Старое искусно защищалось от бестолкового напора дилетантов.

Представляю, как смеялись над нами в укромных дачных местах власть имущие. Каким бальзамом изливалось на их душу заявление рабочего движения: «Мы не рвемся к власти! Нам власть не нужна!»

Сейчас можно подвести итог: нравственные требования оказались в очередной раз поверженными, и Неправда скалится из всех щелей и дверей госучреждений.

В деле «спасения» В. Н. Пищиковой приложил немало стараний тогдашний председатель городского рабочего комитета В. Маханов, нынешний член Верховного Совета России.

Теперь мне понятен тот «холодный душ», коим окатил меня Маханов в августе 1989 года...

Над площадью раскинулись навесы из полиэтиленовых мешков. Разворачивали тормозки с едой, читали газеты, горячо беседовали, разбившись на кучки. Некоторые

спали, подложив под голову фляжки, не замечая дождя. Ждали министра угольной промышленности. Заместитель председателя стачечного комитета Владимир Маханов еще раз зачитал требование трудящихся. «Товарищи,— сказал он,— все города Кузбасса поддерживают нас, и мы должны вести себя достойно. Всякие подпольные действия без ведома комитета будут расцениваться как саботаж, как вредительство нашему правому делу».

В этот день я впервые увидел и услышал своего будущего соперника по предвыборной борьбе в народные депутаты России, главного идеолога Прокопьевской милиции В. П. Баловнева, человека, как показала предвыборная кампания, крайне неразборчивого в средствах. Впрочем, именно так и учила поступать «самая справедливая из всех революционных партий» для достижения цели.

Владислав Петрович не мог не знать, что готовились плакаты, в которых утверждалась заведомая ложь: его, мол, поддерживают городской рабочий комитет и Союз трудящихся Кузбасса (СТК). Никогда не принималось решение в поддержку кандидатуры Баловнева этими организациями!

Конечно, живи мы в нормальном государстве, а не в «дурдоме», устроенном коммунистами, то можно было бы за подлог подать в суд и на этом основании признать выборы недействительными. Увы, нам до «нормы» еще как до луны пешком!

Вот о чем говорил начальник политотдела УВД: «Прошел слух, что в магазины завезли дефицитные товары. Горняки нескольких шахт решили проверить. Пошли в универмаг, магазин «Горняк», стали требовать, чтобы прекратили продажу краски в банках и карандаши. Покупатели возмутились. Они-то тут при чем? Другие горняки под видом борьбы за социальную справедливость потребовали немедленно ехать на квартиры к руководителям города и проверять, что у них в холодильниках».

Говорит В. Маханов: «Товарищи, все мы должны понимать ответственность момента. Каждый день нашей забастовки обходится государству очень дорого. Мы подсчитали:

одни только шахты теряют до миллиона трехсот тысяч рублей, не считая других предприятий».

Мне кажется, нужно очень внимательно отнестись к этим выступлениям двух будущих не-разлей-водой-дружков.

«А что,— скажут мне,— разве не было опасности провокаций? Разве не могли спровоцировать бастующих шахтеров на грабежи и разбой?»

На это ответу так: я не слышал ни на трибуне, ни в подворотнях призывов «шарить» по квартирам. Я знаю иное, такие призывы как раз исходили из рядов госпартаппарата. Вот пример: председатель центрального райсовета Сурков предложил рабочим обыскать свою квартиру.

Бюрократия жаждала беспорядков, чтобы увидеть танки и бронетранспортеры, разгоняющие «чернь».

Как-то очень быстро наладился контроль за выступлениями на трибуне. В нужное время стала «перегреваться» аппаратура. В радиоузле сидели товарищи из КГБ, проводя необходимую селективную работу.

Владение микрофоном оказалось одним из методов борьбы за удержание личной власти, собственного престижа верхушки рабочего комитета, поскольку площадь имела право и могла сместить или рекомендовать в городской рабочий комитет того, кто ей по нраву.

С этой точки зрения любопытно было выступление В. Маханова, до предела насыщенное разнообразной информацией и поразительно несущественное! Например, он подробно докладывал: где, кому привезли тормозки, как будто ничего более важного в тот час не было.

Из выступления В. Маханова:

«Мы подсчитали... Вернее, не мы, не рабочий комитет... Если и досчитывал кто, то это сделал полпред Минугля в г. Прокопьевске, объединение Прокопьевскуголь во главе с Михаилом Ивановичем Найдовым, личностью во многом замечательной!»

Личность эта, на мой взгляд, не столько замечательная, сколько примечательная. Это типичный представитель административной

системы, который тяготился своей несвободой от Минугля и с той же силой покушался на свободу своих подчиненных. Революционер по отношению к верхам и реакционер по отношению к низам, причем любящий совершать широкие жесты за счет трудящихся. Например, подарил миллион двести тысяч рублей на развитие 2-й московской типографии.

Да, аппарат Найдова и горкома партии стал «мозговым центром» рабочего комитета. Именно там были сформулированы требования к правительству, касающиеся материально-технического снабжения.

Любопытно, что первые мандаты, выданные членам стачечного комитета, давали гарантии, что их «не тронут», и гарантом выступал не кто иной, как горком партии.

На моем за номером 98 стоит печать горкома партии и подпись первого секретаря Михаила Гребенцова. Легенда о том, что партия устранилась от управления забастовкой, начисто опровергается фактами.

Именно партия берегла политическую ответственность шахтеров. Именно она «отсекала» от рабочего движения политические силы, могущие «развратить» рабочий класс.

То, что я попал в состав рабочего комитета, было крупнейшим просчетом горкома. Просмотрели!

Итак, забастовку в Кузбассе хотели использовать в своих целях различные силы, в том числе и подрастерявшийся на весенних выборах партаппарат. Мне думается, такое молчаливое соглашение различных сил, преследующих прямо противоположные цели, позволило пройти забастовке мирно. Разве не могли использовать ее консервативные силы в КПСС — с тем, чтобы «придавить» М. Горбачева за все его новации? Могли! И наверняка использовали! Слишком уж соблазн велик был! Вот, мол, до чего ты довел страну. Разве, мол, раньше рабочие осмелились бы на это?!

Между прочим, вскоре до меня дошла информация, что перед секретными сотрудниками КГБ и МВД была поставлена цель — войти в рабочие комитеты и проводить там

политику, нужную партии и правительству.

Я бы не сказал, что это удалось повсеместно в Кузбассе, но в той или иной степени это удавалось в Прокопьевске. Слухи о сексотах кочевали от одного рабочего комитета к другому, вызывая взаимную подозрительность, что тоже, может быть, являлось составной частью плана КГБ.

Не поверишь — обманом, а поверишь — будут натянутые отношения с товарищем, что тоже нам очень выгодно.

Трудно сказать, что здесь было истиной, что ложью, на это ответит только время, которое вскроет когда-нибудь секретные архивы. Попутно замечу, что я в 1990 году уже не нашел нигде архива городского комитета и вынужден опираться в этой работе на свой архив, на городскую газету да на свою память.

Расскажу о том, как я вошел в рабочий комитет.

Утром 14 июля я встретил сразу двух «нужных» людей: бригадира монтажников СУ-3 прокопьевского ДСК Верещагина и забойщика шахты имени Калинина Гонтовского, уже упоминавшегося выше. Верещагин сказал, что его направили в рабочий комитет от родного предприятия. Мол, ставился вопрос и о твоём, Анохин, делегировании в рабочий комитет.

С Александром Гонтовским был разговор иного плана. Вечером прошлого дня, наслушавшись различных выступлений, особенно «густых» в части высоких цен на рынке, я задался целью избрести инструмент, который бы «стриг» баранов, но не настолько, чтобы они погибали от холода или потеряли всяческий интерес к «обрастанию». Свои мысли об этом я записал. Вот с этим «трактатом» и предстал я перед светлыми очами будущего председателя городского рабочего комитета В. Маханова. Привел меня к нему Гонтовский. Кстати, мой поручитель вскоре вышел из городского рабочего комитета. По его словам, разочаровался в действительности мер, предложенных рабочим комитетом. Что ж, это не столь уж далеко от истины. Но уй-

ти не всегда самый лучший способ; ведь политическая сцена, как и природа. В целом, не терпит пустоты. Твое место тут же с радостью займут другие. Здесь всегда очередь, как за дефицитом!

Сейчас я зашел в штаб забастовки, который размещался в Доме научно-технической информации (ДНТИ), занимая в нем два зала совещаний — «большой» и «малый». Там он пробудет до мая 1990 года.

...Откровенно говоря, мне понравился этот атлетически сложенный мужчина с характерной особенностью вести разговор: постоянно ставил вопросы и сам же на них отвечал. Расчленяя проблему на ряд вопросов, он составлял соглашения с собой, поскольку в таком дроблении противоречия как бы исчезали или становились настолько несерьезными, что несогласие воспринималось как попытка увести разговор от якобы основного смысла и дела. Он обладал способностью вести за собой массы, проявлял выдержку в критических ситуациях.

И, как показало дальнейшее, все в нем подчинялось главной установке: что хорошо для того, чтобы вырваться из забоя, то и хорошо, то и нравственно. Он был прилежным учеником — сначала «младшего брата партии», затем и самой КПСС.

В этот день меня ввели в состав комиссии по выработке «Протокола о согласованных мерах...» Работу эту вел один из заместителей председателя городского рабочего комитета (а было их три, до ухода Ю. Рудольфа в областной рабочий комитет) Юрий Колесников, молодой человек с ликом Иисуса Христа. Кстати, второй заместитель тоже смахивал на Спасителя.

Работа была нудная, и, как я вскоре понял, бессмысленная. К нам с трибуны то и дело поступали записки типа: «У меня второй год течет крыша, и я нигде не могу достать шифера. Прошу вас, помогите!»

Меня раздражала, да и поныне раздражает, наша неспособность подняться до обобщений, этот, как я уже говорил, «рефлекс со-

баки», которая грызет палку и не видит, в чьей руке она зажата.

В этой редакционной комиссии все просеивалось, обретало связанную форму, чтобы уйти на машинки горкома партии и там претерпеть специфическое изменение. Оно, это изменение, могло бы быть примерно таким, как запятая в известном анекдоте: «Казнить нельзя, помиловать». Это и есть «высший пилотаж» бюрократии! В этом я убедился потом, когда внезапно оказывалось, что выполнить смысл того или иного пункта, дух его, его логику, нельзя, поскольку логики-то нет!

Так, цитировавшийся уже здесь пункт 17 «Протокола...» начисто отрицается последующими пояснениями и дополнениями. Точно так же и поступают с Законами, уничтожая их ссылками, инструкциями и т. д.

В понедельник 17 июля Верещагин принес решение о моем направлении в городской рабочий комитет, а вскорости в рабочем комитете было образовано бюро. Это было вызвано необходимостью ведения переговоров с комиссией Слюнькова—Воронина. Выбрали девять человек, каждому члену бюро — дали трех в придачу, таким образом, из ста с лишним человек городской стачечный комитет ужался до двадцати трех.

На собрании четырнадцать человек, из ста с лишком, проголосовало против моей кандидатуры, мотивируя тем, что говорю я много и не всегда понятно, «слишком заумно»!

Здесь стоит привести один маленький штришок, объяснить который я не могу до сих пор.

Когда-то, в годах 1985—86, пытаясь создать в Прокопьевске литературный кружок, я познакомился с очень интересным человеком, поэтом оригинальным, работавшим одно время следователем в милиции, откуда, по его словам, его вынудили уйти: «заехал не в ту степь», затронул сильных мира сего.

Так вот, сейчас через него я узнал, что мной очень интересуется старший следователь УКГБ города Прокопьевска, некто Голубев. Что, мол, он дает высокую оценку моей де-

тельности в стачечном комитете. Что он хотел бы встретиться со мной. Друг-поэт охарактеризовал гебиста как человека в высшей степени порядочного и, главное, много знающего о городских мафиозных структурах.

Мой интерес в получении подобной информации был велик, тем более, что я в городском рабочем комитете как раз и занимался жалобами, которые, как мне казалось, выходили на мафию.

Я дал согласие встретиться с гебистом в городском рабочем комитете. И велико же было мое удивление, когда я убедился, что некоторые товарищи из рабочего комитета были с ним знакомы! Вот уж чего не мог я предполагать в то время!

Любопытный у нас с ним состоялся разговор. Каждая из сторон пыталась узнать, что известно другой стороне, и при этом ни слова не говорила о том, что сама знает. Впрочем, я и в самом деле мало что знал. Исходил я, главным образом, из элементарной логики. Ну, во-первых, если мафия, по газетам, есть не только в Средней Азии, но и в других, не столь «знойных» местах, то какая благодатная сила накрыла Кузбасс этаким иммунным коллаком?

Напротив, повышенное снабжение товарами, высокий, относительно окружающих регионов, заработок, не могли не привлечь внимание темных дельцов!

Голубев дал мне понять, что я не столь уж далек от истины. Говорил, что КГБ все свои силы бросит на борьбу с мафией. (Наверное, силы у КГБ очень невелики, так как и сегодня, в начале 1991 года, мафия в городе процветает.)

Когда я расстался с Голубевым, в голову мне вдруг пришла «крамольная» мысль: когда вербуют, то, наверное, это начинается так — с простой беседы.

Впрочем, мало кто может поклясться на Библии, что он не является объектом политических спекуляций, особенно в нашей стране, населенной особой породой людей, советской. Мы — самые аполитичные люди из всех населяющих землю людей. Но кто признается себе в этом, когда мы — «интернациона-

сты»? Мы страдаем за рабыню Изауру, не подозревая, что мы сами давным-давно превратились в бессильных рабов.

...В 1990 году осенью в автобусе второго маршрута меня окликнул молодой мужчина с характерным для шахтера черным окрасом век: «Вы Анохин?» Получив утвердительный ответ, он сообщил мне «новость»: друг Маханова женат на дочери Пищиковой. И закончил следующей сентенцией: «А вы голову ломаете о непотопляемости Пищиковой, намекая на мое интервью городскому кабельному телевидению в программе «Нерв». Вот так. Рука руку моет. Руки руководителей торговли, рабочего движения и КГБ.

Через осведомителей в рабочих комитетах нужная информация стекалась в областное управление КГБ к генералу Пчелинцеву. Обработывалась и поступала в ЦК. Там писались так называемые объективки и вырабатывалась тактика и стратегия переговоров с лидерами рабочего движения.

Так постепенно происходило мое знакомство с КГБ — этим малопочтенным органом по слежке, отлову и «отстрелу» граждан, угрожающих спокойствию единственной, знающей истину, партии. Ведь если народ и партия — едины, то, защищая партию, органы защищают и народ, а что может быть благороднее защиты народа? Генерал Калугин, тот прямо заявил, что КГБ не оставило своим вниманием и рабочее движение.

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое июля меня внезапно обожгла мысль о воздействии КГБ на процесс забастовки. Подобная внезапность, переход с одного на другое, вроде бы вне логической связи с предыдущим, словно стремительно всплываешь из неведомых глубин сознания, — все это было мне знакомо.

Невесть какая мысль, конечно, — связь КГБ с забастовочным движением, но на фоне приподнятости («Началось! Сдвинулось! Проснулись!»), горечь и печаль этой мысли подействовали на меня особенно сильно. И

мысль эта уже не оставляла меня никогда, управляя ежедневно жизнь. Но разве не было в этой догадке резону?*

Случилась невиданная по масштабам «заварушка», сравнимая разве что с выступлением крестьянства против коллективизации. И разве Крючков и К° могли спокойно взирать на происходящее?

Должен сказать честно, что при всем моем радикализме я тоже не был тогда готов воспользоваться ситуацией, хотя редактор городской газеты «Шахтерская правда» В. Гужвенко не раз и не два прямо ставил вопрос: «Чего тянете? Ни туда ни сюда! Брали бы уж власть в свои руки!»

Я так же, как тысячи других, верил в возможность договориться с правительством Рыжкова, с партией в лице тогдашнего ЦК. Немного нужно было времени, чтобы эти иллюзии растаяли.

Одной из задач КГБ и была защита старой власти, власти партократии. Некоторые офицеры КГБ могли ее защищать по неведению, не осознавая, что они защищают. «Отцеживая» экстремизм, они были лишены права думать, а что это такое — за них думали другие. Итак, что такое экстремизм?

«Экстремальный» — в переводе с латыни — «крайний». Тех, кто действует крайними методами, можно назвать экстремистами. Резать живое тело — это крайность. Но разве в некоторых случаях хирург не приносит пользу? Все зависит от течения болезни, от степени ее запущенности.

Забастовка 1989 года по отношению к старой структуре власти была крайней мерой, экстремальной! Я бы не возражал, чтобы меня называли экстремистом, если бы в устах власть предержащих это слово не звучало ругательством.

Главное для властей: не допустить, чтобы забастовкой овладели силы, знающие, что наши бедствия проистекают из господства марксистско-ленинской идеологии. Не допустить людей, которые бы во главу угла по-

ставили политические изменения государственного строя в Союзе.

Напрасное беспокойство! В этом смысле Кузбасс еще тогда не проснулся!

В Москве, полтора месяца спустя после забастовки, я встретился с крестным отцом моей первой стихотворной книжки, изданной в 1979 году в Алтайском книжном издательстве, с поэтом и просто интересным человеком, о котором можно писать романы (впрочем, о ком нельзя?!), Алексеем Марковым.

Мы сидели с ним в роскошном номере гостиницы «Спутник» (может быть, для меня роскошном? Ведь, как говорится, слаще репы ничего не ел!), и он рассказывал мне о том, что Горбачев во время забастовки находился в состоянии прострации, как Сталин, когда его лучший друг Адольф развязал войну. Что на встрече с творческой интеллигенцией Андропов сказал, что общество все загнивает! На вопрос: «Что же делать?» — он ответил: «А ничего, так и будем гнить!» Я узнал, что кризис общества имеет давнюю предысторию и что в последние годы отечество держалось лишь на экспорте нефти и газа.

Мне понятна причина потрясения Горбачева в период забастовки. Ведь Михаил Сергеевич клялся интересами народа, привык выступать от его имени, а особенно напирал на рабочий класс. И вот именно рабочий-то класс и взбунтовался.

Этот политический игрок постоянно жертвует фигурами, дабы выиграть качество в политической партии с... партией! Резерв фигур исчерпан, и, хотя позиция превосходна, нет уже средств реализовать достигнутое качество, а привлекать новые политические фигуры — значит, поступиться чем-то стержневым. В некоторых кругах (Нино-андреевских) поговаривали об исключении из партии Горбачева из-за его неортодоксальности.

С этой точки зрения 1990 год был годом неутомимой борьбы за разрушение ленинского социализма — под знаменем Ленина!

* См. в «Литературной газете», от 17 апреля 1991 г. материал «КГБ как зеркало рабочего движения». (Ред.)

Наверное, в действительности, все куда обыденней и проще.

И считать Горбачева пророком и мессией, пришедшим освободить народы от кровавой марксистской утопии (а как еще хочется верить в это!), — признак мифологического сознания. Английский философ 18-го века Джон Стюарт Милль в своем трактате «О свободе», в частности, писал: «Государство, которое превращает людей в кроликов, чтобы они были послушными орудиями в его руках, даже если его цели благородны, обнаружит, что великие дела не свершаются мелкими людишками и что совершенная машина, ради которой пожертвовано всем, в конечном счете ничто, так как не хватает жизненной силы, которую уничтожили, чтобы эта машина действовала без помех».

Когда заводишь душевный разговор с цыганами, то они называют Горбачева своим «крестным отцом», имея в виду повышение цен на водку. «А, гы! — показывает ряд золотых зубов. — Я и своему коню такие же вставляю!»

Слушая крики: «Горбачева! Давай Горбачева! Ребята, вы ему отправили телеграмму!» — я вдруг физически ощутил, как истекает вот здесь, на этой площади, его политическое время.

Очевидно, то, что первые мандаты нам были подписаны первым секретарем горкома партии М. Гребенцовым, о многом говорит. Напрасно многие думают, что шахтеры действительно что-нибудь решали. Их использовали как стихию, как силу в борьбе за разрешение вечной проблемы между центром и периферией. В этом смысле весьма характерно выступление Генерального директора объединения «Прокопьевскгидроуголь» М. Найдова.

— Считаю, что стачечный комитет пока держит правильную линию, но ведь не они, а мы, руководители шахт и предприятий, партийные и советские деятели, отвечаем за обстановку в городе, — так сказал он.

Только что родившееся рабочее движение сразу попало, по крайней мере в нашем го-

роде — в старые добрые и «надежные» руки партии и профсоюзно-хозяйственной корпорации. Недаром один из профсоюзных «забастовщиков» Колесников сделал за три месяца головокружительную карьеру — катапультировался из Прокопьевска в Москву.

Когда я увидел, что Маханов буквально в рот заглядывает Найдову, я спросил: разве он не понимает, что устремления рабочего движения и «генералов», мягко говоря, не совпадают?

В ответ получил: ты для меня не авторитет, а Найдов — авторитет! Положим, действительно, откуда у меня взяться авторитету? Но «слепота» председателя рабочего комитета, а может, четкий расчет на то, что забастовка не вечна, а ему еще жить и работать с «генералом», бросались в глаза.

Должен сказать, меня не очень-то допускали к микрофону. Похоже, за этим специально следили. Или, может быть, мне так казалось. Ведь факт, что как только в руках у меня оказывался микрофон, так тут же требовалось что-то «срочно сообщить» или где-то что-то перегревалось, вплоть до отключения энергии. Допускаю, что это все не более чем совпадения, но когда я надрывал голосовые связки, обращался к тысячам и тысячам, я чувствовал, что у людей была потребность разобраться вместе со мной в «корнях и кроне».

И, наконец, шахтеры сказали: погоди, не уходи, мы принесем усилители. И, действительно, принесли, подключили, и мне удалось минут пятнадцать бесконтрольно-беспрепятственно поговорить. И как только зазвучала на площади усиленная динамиками речь, так сразу же появились особы, приближенные к императору. Появилась «срочная необходимость дать информацию» о том, что там-то и тому-то привезли «тормозки» и они могут их там-то и там-то получить. К этому времени я уже догадывался, что отключается трансляция по каким-то, мне не ясным, причинам, что у зама Маханова, Валеры Легачева, в кармане торчит микрофон. Я слышал не раз потом, что люди КГБ дежурили в студии радиовещания, что по решению горкома партии отключалась электроэнергия.

А реальная обстановка была — это мешанина человеческих страстей, политических задач, расчета и безрассудных поступков, жертвенности и корысти.

Скажу сразу, многообразие течений, влияющих на поведение членов рабочего комитета, мне было сперва неведомо во всей полноте. Многое, но не все прояснилось впоследствии. Еще большего я не знаю и сейчас.

Известно, что основным мотивом, сдерживающим рабочих от погромов — погромов квартир «отцов города», был все-таки страх перед возможностью ввода войск. В этом главная причина того, что не было никаких происшествий. Этот же страх принудил искать сильную личность, Теймураза Авалиани, народного депутата СССР, сыгравшего в рабочем движении немалую роль. Вот чем мотивировал приглашение Авалиани во главу рабочего движения его первый заместитель, бывший до Маханова председателем Прокопьевского стачкома, Юрий Рудольф:

— Он нам нужен в качестве «щита». Мы его возьмем под контроль. Он будет делать то, что нам нужно.

Сейчас можно с уверенностью сказать: «Не на того, братцы, ставили! Не та это личность, чтобы исполнять петрущенную роль. И вот, мне кажется, в деле усмирения забастовки, прекращения ее Теймураз Авалиани сделал все возможное. Но как это было сделано!

Двадцатого июля, в четверг, «Шахтерская правда» вышла с обычной «Хроникой событий», где сообщалось, что 18 июля в 17 часов в Доме научно-технической информации Прокопьевский городской стачечный комитет принял важное решение:

1. В связи с тем, что около 70 процентов требований стачечного комитета выполнены, а остальные находятся в стадии решения, забастовку временно остановить с 19 июля 1989 года с 8 часов.

2. Реорганизовать городской стачечный комитет и стачечные комитеты предприятий в рабочие комитеты.

3. Определить постоянное место работы

городского рабочего комитета в Доме научно-технической информации. Обеспечить телефонной связью.

4. В случае неудовлетворительного решения вопросов правительственной комиссией городской рабочий комитет оставляет за собой право возобновить забастовку.

Председатель городского
стаечного комитета
В. Маханов.

Далее следует комментарий журналистки К. Алексеевой:

«Решение это далось непросто. В ДНТИ заседает уже не один час стачечный комитет вместе с представителями стачкомов промышленных предприятий.

— Правительственная комиссия начала работать, — говорит В. И. Маханов.

— Наша задача показать ей, что мы видим ее работу, и в то же время дать понять, что полумерами бастующие прокопчане не удовлетворятся. Нам надо решить, как в дальнейшем действовать.

— Мы с вами очертили требования к горкому партии, райисполкому, — поднялся генеральный директор НПО «Прокопьевскгидроуголь» М. И. Найдов. — Но теперь на них накладываются частные, второстепенные. Вопросов много, их предстоит со временем решать в любом случае. Мы ждали правительственную комиссию. Она приехала. Поздно? Да. И она хочет решать наши проблемы. Но даже на те вопросы, которые не требуют для решения долгого времени, понадобится две недели. Две недели не будет ответов на вопросы. И все это время вы будете сидеть? Глупо. Мое предложение: надо поговорить о приостановке забастовки, о возобновлении некоторых видов работ».

Многие активисты забастовки приняли это предложение. Тем более, как стало известно, прекращены работы, причем без ведома стачечного комитета, на ремонте теплотрасс, а это — угроза городу оказаться неподготовленным к зиме, на строительстве и ремонте жилья.

Почему принятое решение не было претворено в жизнь и забастовка продолжалась еще

два дня? Во-первых, потому, что это решение было скрыто от бастующей площади, и те, кто принимали такое решение, не имели мужества признать в «сепаратных переговорах». Во-вторых, многие члены рабочего комитета не принимали участия в описанном выше заседании. Я, например, в это время бегал по подразделениям ДСК.

Для меня, да и для многих членов рабочего комитета, информация в «Шахтерской правде» была полной неожиданностью. Честно говоря, я подозревал газету в умысле, в желании опорочить рабочий комитет. Что самое интересное, точно так же возмущался и Маханов.

Вернемся-таки в 18 июля, — когда ко мне поздно вечером подходили шахтеры и спрашивали: «Неужели мы согласимся прекратить забастовку?» (Видимо, информация просачивалась из ДНТИ на площадь.) И надо же, я, как простофиля, уверял окружающих, что еще и вопрос о прекращении не стоял: ведь до сих пор не получили документа, подписанного сторонами. Было бы предательством прекратить сейчас забастовку, пустив на ветер весь политический капитал ее! Много чего еще я говорил в неведение своем.

19 числа утром я встретил на ступеньках ДНТИ Авалиани, спросил его: «Это правда, что областной Совет принял решение о прекращении забастовки?» Он мне: «Нет, такого решения мы не принимали. Мы просто — рекомендовали прекратить забастовку».

Решение Прокопьевского рабочего комитета было тайной только для бастующих шахтеров Прокопьевска и для части рабочего комитета. Для других городов Кузбасса это тайной не было. Более того, это решение стало мощным фактором свертывания забастовочного процесса, раскола в единстве действий.

К утру прибыли недоуменные гонцы из ближайших городов: «Как так?» Ведь рекомендация в некоторых местах тут же превращалась в решение. Гонцы вопрошали сидевших на площади шахтеров, а те не могли ничего сказать вразумительного. Послышались

голоса: «Нас предали! Где Маханов? Пусть придет!»

Маханов долго не появлялся, не было и его «оруженосцев». Именно в этот момент яриспел я, будучи уверенным в том, что есть только рекомендация.

Кажется, я пришел из здания горкома партии, где работала правительственная комиссия. Я был под впечатлением работы этой комиссии. Суммы, которыми запросто ворочала команда Слюнькова—Воронина, впечатляли. Мне казалось, что правительство может, если захочет. Все мы — рабы иллюзий.

Вот эти два момента и определили мое выступление. С одной стороны, полное неведение того, что уже вчера Маханов подписал решение о прекращении забастовки, с другой — определенная эйфория от общения с правительственной комиссией.

Я выступил. Предложил тактику постепенного освобождения от «мертвой хватки» забастовки. И — сыграл на руку тем, кто, наверное, за моей спиной посмеивался над незадачливым правдолюбцем.

Вслед за мною выступил Маханов. Конечно же, у него не хватило духу признать, что за спинами бастующих было принято решение о прекращении забастовки. Он лишь заявил: была рекомендация об этом. Шахтеры же, слушая нас, думали: они говорят об одном и том же.

Вечером 19 числа в 19 часов состоялось заседание стачкома, где было решено начать отгрузку угля со складов.

Как же оно все было на самом деле?

А было все почти так, как описано в репортаже журналиста «Шахтерской правды». За исключением того, что Маханова тоже поставили перед фактом: решение такое — принято!

Маханов был марионеточной фигурой в руках Найдова настолько, насколько мы все — марионетками в политическом театре. Мы были силой, вертящей жернов, а муку забирали другие. Они же и пекли из этой муки себе пышки, блины, пироги.

И мало кто знал, что «мозговым центром»

забастовки в Прокопьевске был ГК КПСС и объединение «Прокопьевскгидроуголь» в лице М. Найдова. Вот уж кто может без всякого преувеличения сказать, что был определяющей фигурой в «шахматной партии» между бастующей площадью и государственными структурами!

Самостоятельность предприятий могла бы сломать главный рычаг власти КПСС — ее право определять кадровую политику. Только политически униженный, экономически несвободный коллектив принимает как должное партийно-правительственный диктат. Свободный производитель — не нуждается в этом, более того, такая зависимость оскорбляет его честь и достоинство.

Проявление независимых производителей есть первый шаг на пути демонтажа социалистической системы народного хозяйства. Эту довольно банальную истину я пытался внушить окружающим. Но настроение в стачке царило другое. Вкратце позицию большинства можно сформулировать так: «Нам все равно, что будут делать, какой механизм «изобретут», нам важно, чтобы были «мясо и мыло» и приличный заработок! Нам дела нет до того, как вы принудите рынок снизить цены, но нынче они чересчур высоки!»

Забастовка поставила вопросы, ответы на которые рабочие поручили дать тем, кто привел их к... забастовке!

То, что действительно «Протоколы...» сочинялись и отстаивались не нами, видно из «Хроники последних суток» городской газеты. Если в выступлении В. Маханова проводится мысль, что нужно прекратить забастовку: «В. Маханов: «Поймите, ребята! Нас услышали, и это главное!» — то выступление первого секретаря горкома партии М. Гребенцова было конкретным, он изложил почти все пункты будущего «Протокола...» То есть, он владел конкретикой дела, именно он, а не председатель стачкома В. Маханов.

Конечно, впечатление комиссия Слюнькова—Воронина производила. Многие были уверены, что идет конструктивная работа. Я тоже не был исключением.

Другое дело (я об этом уже говорил), у меня была совершенно иная тактика прекращения забастовки, а именно — постепенное включение в работу предприятий по мере выполнения наших конкретных требований.

18 июля, после обеда, на центральной площади я попал под град вопросов, которые были вызваны обращением по радио городского стачечного комитета. Самого обращения я не слышал и, собственно, по сей день не знаю, кто давал поручение зачитать этот текст на радио.

Ропот возмущения волнами перекачивался по площади:

— Это дезинформация! Наш стачечный комитет не подписывал протокола! Он не мог этого сделать, не посоветовавшись с людьми. Если вы действительно подписали за нашими спинами протокол, то вы нас предали! — Ма-ха-но-ва-а! Где Маханов?! Почему забастовка с нами разговаривает через радио?!

А в это время — членам забастовки со стороны хозяйственных, партийных, советских руководителей: «Какая же вы власть, если не можете совладать со стихией, которая вас родила?» «Мы будем искать среди бастующих тех, которые действительно владеют ситуацией».

...На площади меня взяли в плотное кольцо. Лица злые, потные от немилосердной жары. А ведь я только что был в подобной ситуации, когда поддался на обман, исходящий от зампредисполкома по торговле: мол, на станции стоит вагон с продуктами и его следует поставить под разгрузку. Я обратился к бастующим за разрешением отправить тепловоз за этим вагоном. Но... Встал парень, представился: он с железной дороги, сцепщик, и в наэлектризованной атмосфере раздалось:

— Провокатор! Мужики, да он подослан! Там только один вагон с гнилой капустой!

Чудо спасло меня от линчевания. Я сказал себе: никому не верь на слово, говори о том, что сам знаешь. Однако постоянно попадал в ситуации, когда принужден был лгать. По неведению.

— Это правда?! Правда?!

А в это время из репродуктора: «Товарищи! Просим всех освободить площадь и приступить к работе».

Яростное, как вздох, знакомое, страшное слово:

— Это провокация!

Действительно, в этот день, 18 июля, много слова не могло прийти в голову забастовщикам. Я же объяснял людям, что кому-то очень хочется говорить от имени стачкома, вносить смуту и недоверие.

Позже к вечеру на трибуне появился В. Маханов со своими «оруженосцами», точнее — «портфельносцами», но ему сказать было площади нечего! Встал вопрос о его смещении, но не нашлось человека, взявшего бы на себя смелость поднять уроненный или, точнее, выпавший из рук жезл власти.

Из этого можно судить о почти нулевой отметке уровня политизации масс, — вопреки тому, о чем так много и так шумно писали и говорили, особенно залетные журналисты, выдавая желаемое за действительное. Этот предельно низкий уровень и предопределил наше поражение от бюрократического аппарата.

«Шахтерская правда», заканчивая серию исторических репортажей с площади «Победа», писала: «Шахтеры уходят, победа это или поражение?» Вот мои соображения на этот счет.

Я думаю, что всякий протест против произвола, даже если он не достиг желаемого результата — не бесполезен и в этом смысле является победой!

Разве это не победа — преодолеть в себе страх, выйти на площадь, не зная, что там тебя ждет: «пышки» или «шишки»?

Даже если бы ну совсем ничего не было бы выторговано у правительства, разве этот мужественный поступок не изменил внутреннего состояния людей? Не подвинул их к самоуважению — качеству, напроць выравленному в нас Системой? А разве все изменения во внешнем мире не есть результат прежде всего внутреннего изменения в человеке?

Да, забастовки резко поднимают общест-

венную температуру — до того предельного состояния, когда общественная кровь может не выдержать и свернуться, но кто знает более действенное средство, способное излечить хронического больного, килограммами поглощавшего лекарства без всякого улучшения?

Вряд ли можно переоценить значение забастовочного движения в 1989 году в плане воздействия его на общемировой процесс. Именно так — на общемировой, поскольку внутреннее содержание государства и определяет его внешнюю политику.

Я думаю, мы и не могли достичь чего-то большего. Именно средняя величина присущего данному народу менталитета и определяет его судьбу. Отдельные личности не могут уклонить общий путь, определенный уровнем среднего сознания. Разве что Иисус Христос, но нам до него далеко.

Пусть не обижаются на меня члены стачкома. Все вышесказанное я полностью отношу и к себе, поскольку вырос в среде униженных и оскорбленных, а среди этой категории граждан искать чувства благородные, манеры возвышенные — задача потруднее, чем добыча радия.

О нас много сказали не заслуженных нами лестных слов и злобной неправды. Мы должны сами о себе попытаться сказать правду, без этого мы не очистимся от грехов прошлого, а значит, не будем достойны лучшей доли.

Поставлена точка под «Протоколом...» Начинается новая страница существования — не стачкома, а уже рабочего комитета, со своей особенной драмой, которая еще не закончилась и вряд ли закончится в обозримом будущем. Поставлена и точка в этой (первой) части моих записок. Я уверен, что если только они будут изданы, так сразу же опротивят мне. Так уже было не раз со стихами, когда они рождались, я был влюблен в них и в себя, но проходил день, я читал их и не видел причин для восторга. Все казалось серым, будничным, не стоящим внимания. Вот почему я передаю эти записки в другие руки, пока не уничтожил их.

1990—91 гг.
г. Прокловск

Сергей Самойленко

О ГОРЬКОЙ СОЛИ СТИХОВ, О ПОЭТИЧЕСКИХ МУРАШКАХ И МНОГОМ ДРУГОМ

Обзор логично начать с кассеты «Я знаю, что так не бывает», объединившей под своей обложкой семь первых поэтических книжек. Мне не кажется удачным название кассеты: в нем видится декларированная оторванность поэзии от жизни, заявка на этакое «витание в облаках». Очевидно, сработал стереотип — раз книжка первая, поэт молодой, значит, сплошная романтика и никакой опоры на низкую действительность. Однако при всей разности поэтических воззрений своих все семь поэтов достаточно прочно стоят на земле, и никаких особенных воздушных замков в стихах их не отыщешь.

Теперь собственно о книгах. «Ночной брекватер» Виктора Бокина представляет собой в некотором роде избранное (как бы ни было странно называть так первую книжку). Даты под стихотворениями свидетельствуют, сколь долг и непрост был путь поэта к читателю. Учитывая стаж работы В. Бокина в поэзии, как раз и догадываешься, что здесь — лишь небольшая часть написанного им за двадцать с лишним лет. Думается, датируя стихи свои, автор не пытался вызвать снисхождение к ранним творениям своим — дескать, вон аж когда написано было, не судите, мол, строго. Скорее — это веки на пути его, зарубки, по которым виден рост, документированное подтверждение единства жизни и поэзии.

По стихам книжки и в самом деле можно прочесть в общих чертах биографию автора: юность, полная скитаний и лишений в дальних краях, увиденная через романтическую призму, возвращение в родной город,

зрелость, требовательно и взыскательно вопрошающая о смысле прожитой жизни. Крупица морской горькой соли находится и в зрелых стихах, как напоминание о молодости, порой — как символ любви:

*Свидания наши. Два темных кунгаса
бортами стучатся. И плещет вода.*

Или вот еще:

*Вода тяжелая, соленая
вот-вот мне выдавит окно.*

Привлекает в стихах твердость и мужественность лирического героя, сдержанность его в тоске и горе. Вообще же, некоторая неулыбчивость стихов слегка вредит им, поэтому так радостно встретить строки легкие, летящие, несерьезные, почти игровые:

*В той суме моей открытку
Слишком давнюю храню.
Шпильку, черточку, улыбку,
Полумрак и болтовню...*

И хоть смысл стихотворения в целом довольно пессимистичен, эти строчки освещают его, разрушают заданную обреченность.

Вредит в некоторых стихах и многословие, невнятность мыслей и образности («Грипп-1980», «Ответ»). Хотелось бы видеть точность и четкость во всех стихах, а не только в коротких, многие из которых весьма хороши. Поэтому «простим угрюмство» В. Бокину и будем ждать новых стихов.

У Виктора Коврижных книга называется «Я, наверно, родился не зря». Фраза, понятно, чисто риторическая — никто и так не сомневался. Но в чем сам автор видит эту «незряшность»? Ответ вроде бы прост: дом и дорога, уводящая прямо на карьер... В люди вышел, ремеслом овладел, ну, а что соловьев не слышал, так и сейчас не жалеет о том. Заявить так в последнем стихотворении книжки — подбить черту. Но вот беда — открывается книжка совсем на другой ноте: «Пой мне, дудочка зеленая, играй!..» Да и дальше не раз возникает в индустриально-пролетарском грохоте этот мотивчик зеленой волшебной дудочки, ведущий лирического героя по жизни. И за этой потаенной мелодией он то на кран взбирается, где дудочка тотчас становится работающим дизелем, то забредает в рощу у самой запруды. Там, где слышен звук этой детской дудочки, в стихах есть загадочность, лиричность, тайна. Когда же В. Коврижных перестает к ней прислушиваться, к этому, можно сказать, камертону, то у него получается едва ли не самопародия («Как работал я с магнитной плитой»). Я не говорю, что плохи все его «производственные» стихи, там, где есть ответственность за природу — получается нечто. Впрочем, об этом хорошо сказано в предисловии В. Махалова.

Меня же больше всего привлекают стихи, где нет ни экскаваторов, ни протяжки гаек, ни другого производства, где нет наших унылых пейзажей с отвалами, заросшими полынью, стихи, где автор не умствует на абстрактно-философские темы («Гипотеза», «Диалектика»). Я даже затрудняюсь определить, о чем же они... О природе? О деревне? Просто — жизнь. Лучшие из них — «Предимье» и «Перед грозой». Мне эти стихи кажутся лучшими в книге, и я бы процитировал их, кабы не недостаток места. Хотелось бы, чтоб Муза, «скромная гостья с дудочкой в руке», диктовала В. Коврижных только такие стихи.

Книга Владимира Соколова «Прожиточный минимум» мне кажется едва ли не самой,

если так можно сказать, симпатичной в касете. Чистота и искренность интонации многих стихотворений заставляют верить в неподдельность лирического чувства. Точность психологических деталей действует на читателя сильнее метафорической изысканности и дежурного пафоса. Шпильки, оставленные на подушке, поиски завалившего окурка в ящике — что может быть проще, казалось бы! Но именно это, наверно, и сложнее всего — найти деталь, которую нельзя придумать, подделать. Простая жизнь — как от лука заплакать. Дождь, простой, как пареная репа. Эту простоту, не имеющую отношения, разумеется, к воровству, нельзя симитировать, как и нельзя симитировать поэтический дар, заменив его версификаторством. Поэтический мир В. Соколова включает звездное небо, космос, бесконечность — и муравья, и воробья, и травинку. В его мире время может измеряться как жизнью снежинки, так и расстоянием меж звезд. Вечность — вот наиболее подходящая категория времени для стихов Соколова. Однако же вряд ли он может воскликнуть вслед Пастернаку: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?..» Иначе бы откуда взялись такие стихотворения, как «История», «Предание»? Уж только самый остросоциальный поэт мог сказать про мир под знаком «бороды, клубящейся, как дым от паровоза». Но и этот символ временности, преходящего вправлен в ту же оправу мировой вечности.

Несколько раз в книге возникает мотив полета:

...как птица, взлечу,
как нелепая птица в одежде.

Или же во сне снится автору, должны ему выковать стальные крылья. И пусть в стихах он не может в полной мере испытать чувство свободного полета, нет никакого сомнения, что у Владимира Соколова есть самое необходимое для поэта — сильно развитый орган полета.

«Раскаленное время» — назвала свою книгу Светлана Трущева. Зная ее стихи, я, при-

знать, ждал, что название будет даже «покруче». Нет смысла, думаю, много говорить о дисгармоничности мира, созданного в стихах, об антиэстетизме — об этом всем и о многом другом очень хорошо написано в предисловии Л. Никоновой. На мой взгляд, предисловия Никоновой к книгам Труцовой и Рубцовой просто замечательны, с таким сочувствием и заинтересованностью они созданы. Я не могу согласиться только с тем, что муза С. Труцовой «необычна». Мне кажется, что манера, в которой написаны почти все стихи Светланы, вполне укладывается в прокрустово ложе авангардной поэтики. Кроме разве что одного: весь пафос разрушения и безобразия в стихах этих совершенно исключает какую-либо иронию по отношению к себе и воссоздаваемому миру. Автор с тотальной серьезностью ниспровергает, отрицает и эпатирует (почти всегда), забывая об иронии как средстве самозащиты текста. Мне кажется, что не всегда необходимо тратить поэтический жар и пыл на то, что можно убить и разрушить иронией и смехом. Светлана походит немного на Дон Кихота от поэзии, применяя игрушечное оружие, не предназначенное для сражения, как боевое. Я надеюсь, что она вскоре откажется от живописания уродств и болячек нашего времени, охладит к эстетике помойки, свалки и выйдет в другое поэтическое пространство и время, где почувствует не только «крови оглушительный прилив», но и прилив столь же оглушительной гармонии, ощущения целостности и оправданности разумного Божьего мира.

Книга Тамары Рубцовой — полная противоположность. Одно лишь, пожалуй, общее — тоже написана женщиной. Правда, вспоминается, что Ахматова заявляла: «По половому признаку не объединяюсь!» Но это, как говорится, ее личное дело. А стихи Тамары привлекают как раз трогательной, беззащитной женской интонацией. Их отличить можно не только по родовым окончаниям глаголов прошедшего времени, но и по тому восприятию мира, которое выражено в стихах. До-

чернее чувство, материнство, чувство жалости и сострадания — все это есть в книжке. И хоть голос поэтессы негромок и нет стихотворений таких, чтобы прочитал и — ах! — читать эту книгу, проникнутую ощущением света и счастья, легко.

Стихи Алексея Бельмасова хороши свежестью молодости, недалеко ушедшей от детства. Несомненно, оттуда, из детства появляется «авоська, похожая на старушку, старушка, похожая на авоську». Конечно, невольно вспоминается интонация детских стихов Хармса или Маршака, но что с того... Только в этом возрасте убеждаешься, что смерти нет, стога кажутся головами вновь умерших динозавров, видишь отличие сентябрьских собак от майских, слушаешь лесной шорох в подлиннике... В этом возрасте еще грустишь, что детство кончилось, но уже замечаешь, что «грядущее становится короче, а прошлое становится длиннее». В общем, «жалей не жалей» (так и называется книжка), а детство позади, и надо писать взрослые стихи. И понятно, что все равно никогда не сможешь «сказать сильнее реальной жизни и реальной смерти», но к этому надо стремиться. Да и не определяется ли успех в поэзии масштабом поражения? Об этом судить не самому поэту.

В стихах Валерия Берсенева полноправно властвует природа. Видно сразу, что природе он знает и любит. Именно в стихах о природе больше всего у него свежих и ярких образов, удачных строк. Ну вот, к примеру: «сухарный звон поленьев», «могучий запах меда» над просекой, настороженные по-зачьи уши колбы, электричка, петляющая в горах, как гусеница по листу... Другое дело, что и в этих, по-своему удачных стихах, поэт довольствуется описанием, зарисовкой, этюдом. На мой взгляд, этим стихам не хватает глубины, попытки философского осмысления. То же можно сказать и о других вещах. Вот, допустим, в книге есть как бы небольшой цикл о смерти: «Ты лежал, осты-

вая, в горячей пыли...», «Осенняя смерть», «Смерть столяра», «Обряжают». Но и здесь автор не выходит за рамки констатации факта, этакое медицинского заключения, смешанного с бытовой зарисовкой. И лишь в одном стихотворении «Пустое место», там, где не сказано прямо, что же все-таки случилось, есть какой-то прорыв в потустороннюю тайну. И вроде бы ничего описано, а лишь:

*Фундамент мертвый — шесть на шесть,
Да яма погребя — как рана.*

А вот уже веет на читателя из этой ямы погребя такой жуткой загадкой, что не по себе становится. И эта недосказанность говорит гораздо больше, чем прямое название. И хотелось бы, чтобы В. Берсенев не все выводил на поверхность, а и оставлял, пусть и небольшую часть, как у айсберга, но все же хоть что-то — «под водой», между строк...

Если же подвести итог и сказать о кассете в целом, то надо сказать, что столь разные поэты взаимно оттеняют и дополняют друг друга, не сливаясь на этом групповом портрете в одно усредненно-типичное лицо молодого поэта. Хотя разумней, наверное, было бы не собирать в одну кассету семерых, а издать хоть две меньшим числом авторов, но это, видно, чисто издательские трудности.

Иван Полунин в новой книге своей «Полоса зимы» ставит перед собой и читателем целый частокор вопросов:

*Перед вами приоткрою дверь...
Мне без вас не отыскать ответа:
Кем я послан именно теперь
В этот мир
То сумрака, то света?*

Или:

*Живу невзрачно,
Точно обворован...
Когда же посветлеет,
Подскажи?*

Конечно, можно сказать, что поэт не отвечает на вопросы, его дело — вопрос задать. Но все-таки вопрос должен быть корректно сформулирован, а вопросы И. Полунина, похоже, в ответах и не нуждаются. Ну что, право, ответить на такое: «Легко ль по отвесным дорогам Шарахаться, Стужу кляня? Дойду ли до главной дороги И кто приметит меня?» Не считать же, на самом-то деле, ответом такое утверждение: «Надо расти, утверждая На черстовой земле красоту!» Понятно, что всем хочется знать: «Какая участь ждет Планету, Что будет с Родиной... потом?» Но, простите, зачем «с волнением, свойственным поэту», говорить банальности? Впрочем, автор в одном месте сам абсолютно точно говорит о своих стихах: «...творенья мои, Точно лысины, гладки, Соответствуют блеску Заезженных тем.» Лучше не скажешь. Я не считаю нужным множить примеры безвкусицы, которыми изобилует эта небольшая книга. Возможно, стоило обратить внимание и на вполне приемлемые стихи, но я считаю, что комплименты нужны в первую очередь молодым поэтам, выпустившим первые книги, а для автора, имеющего в багаже не один сборник, нужнее трезвая, хоть и достаточно резкая, оценка его работы.

В зубах, наверное, навязла уже истина прописная, что поэт начинается со второй книги. Вторая книга Иосифа Куралова — «Тридцатое пространство». Впрочем, я все-таки вел отсчет с первой книжки, а вторая — уже новый рубеж.

Куралова читать интересно. С ним, можно сказать, не соскучишься. То он открытым сарказмом припечатает, то лукавой усмешкой исподтишка подкузьмит, а то вдруг совершенно серьезным обернется. То у него золотая рыбка из мутной водицы выплывает, то царевна-лягушка заквакает, то мотивчик слезоточивой сиротской песни возникнет: «никто, дескать, не узнает, где могила моя...» То он хвалебной песнью во славу неверблюда разразится, то в книгу трамвайного управления такого понапишет... А сразу же за этим вдруг «Свет и лист»: «В тот мо-

мент, земли касаясь, Отрываясь от земли, К тучам серым прорываясь, Пятна светлые пошли...» И уж веришь, что есть, есть у поэта шестое чувство... А потом вдруг с тоскливой самоиронией: «За все приходится платить... И за такси ночные. И за дрова печные». И вот так в первой половине книги постоянно — по грани и по краю. По грани между драмой и фарсом, между патетикой и иронией, которая, впрочем, согласно классической эстетике, сама есть разновидность пафоса. И еще раз я повторю — все это очень интересно и увлекательно.

Но вот поэмы... «Письмо любимой поэтессе», огромное любовное послание, развернутое чуть ли не от сотворения мира до XXI века. Чехарда культурных мифов, эпох, стран — так меняются декорации в театре. На сцене — двое. Действия — никакого. Вавилонская башня становится Эйфелевой, та превращается в трубу с выходом в открытый космос; в калейдоскопе христианство вдруг становится языческой Русью, затем мусульманством; Орда возникает и гибнет на глазах; идет тотальный маскарад: Мария рождается из античной пены в костюме Евы; кругом голова и в глазах рябит от восклицательных знаков. Ух!

В «Тридесятом Пространстве» начинаются скачки с препятствиями на Пегасе вокруг пресловутой трубы... Короче, к финишу герой приходит, да к тому же, как и положено в сказках, с юной девой. Я надеюсь, мой несколько ироничный тон не будет считаться издевкой в разговоре о поэмах. Мне кажется, что они провокативны сами по себе, на уровне письма, и с полной серьезностью трудно обсуждать их. Думаю, И. Куралов переоценил возможности игровой поэзии, слишком увлекся возможностью парадоксального сопряжения далековатых понятий на столь большом пространстве, хоть и тридесятом. Мне показалось, что он злоупотребляет своим даром и переоценивает возможности читателя воспринимать подобную поэзию в больших объемах. Разумеется, это субъективное мнение, не претендующее на какую-либо категоричность. Просто я считаю, что И. Куралову дано так много, что

и ждешь по-настоящему большой и значительной вещи.

«Ветер славянства» Александра Каткова... Бесплацкартные вагоны, просторы отчизны, родина и мама, вина и ответственность, пора раздачи долгов и подведения предварительных итогов... «Дым отчества и ветер славянства» осушили щеки от слез, но уже и «жизнь отгорела вдали, только дым горьковатый остался». Дым отчества не столь сладок и приятен, он смешан с дымом отгоревшей жизни, пропитан своей горечью всю книгу. Сквозные мотивы книги — поезда и железные дороги, отцовский сад, прошедшая молодость.

Поэт остро ощущает вину, «одну на всех», которая легла на плечи поколения, взшедшего во времена тотального вранья, и не старается переложить свою долю вины на плечи других — или же на государство, на времена застоя, да мало ли козлов отпущения?! Это чувство вины за родину и за свою собственную судьбу, неразрывно с родиной связанную, и за судьбы близких и далеких людей — едва ли не самое главное в книге. А еще бы надо отметить стихи о любви, их в книге неожиданно много. Я как-то в последние годы почти ни у кого не встречал столько стихов о любви. Время, что ли, такое... А тут вдруг целая россыпь. И мне кажется, что именно эти стихи наиболее удались (как ни кощунственно звучит) А. Каткову. Единственное, что меня слегка смущает, это воспоминание об одной строчке из первой его книжки: «Это осень горит, словно шапка на воре...» В этой же книге подобной строчки, сравнимой по яркости и красоте, я не встретил. Понятно, что пришел опыт, и палитра стала сдержанней, скупее, но как жаль молодой безудержной щедрости...

Вторая книга Валерия Ковшова называется «Под созвездием Волчицы». Смысл сразу же начинает двоиться, троиться... Мифология, астрономия, история... Как принято сейчас говорить — неоднозначное название.

Первых же два стихотворения задают координаты неоднородного поэтического пространства книги: «Когда клянусь — не рву рубах» и «Деревянная изба...» То бишь одна ось — философия, другая — русская стихия, мифология. С поэтическими предшественниками В. Ковшова тоже, думается, все ясно. Уже и в первой книге было видно, на какой высоте стоит его поэтическая планка, а вторая подняла ее еще выше. Несколько, действительно лучших стихотворений из «Света внезапного» без всякой натуги вошли в эту книгу, что свидетельствует о непрерывности и плавности творческой траектории. Старые мотивы получают новое воплощение (ср.: «Быль» и «Когда металл горит в огне...»). Вообще же, стихов глубоких, сильных и емких здесь столько, что не хватит пальцев загигать. Впечатляют и жуткие inferнальные картины «безумной игры с компьютерным размахом» и «холодящий разум радарный крик». А мужик, который «подлесок рубит на дрова, в ладони плюнув, как в колодезь»?.. Книга эта столь хороша и серьезна, что не хотелось бы скороговоркой рассыпать дежурные похвалы, она достойна серьезного разбора. Хотел бы отметить вот еще что: не смотря на ориентацию на классическую форму, В. Ковшов, мне кажется, ближе всех оказался к поэзии, которую называют «метафорической», «сложной», «новой волной». «Черный, как ночь, хлорофилл» в его стихотворении сразу же мне напомнил, как несколько лет назад этим злополучным хлорофиллом тыкала Жданову, Еременко и Парщикову, да так старательно, что сделали его неким символом. Совпадение? Отнюдь. «Крик радарный» заставляет вспомнить В. Корякина: «Радар общается с радаром...» Но дело даже не в совпадениях на уровне лексики, метафоры и прочих частностей. Общность я вижу в одинаково высоком уровне сложности, глубины. Есть, конечно, в книге и поверхностные вещи, и сконструированные, и поэму его я не считаю шедевром, но все это искупается с лихвой лучшими стихами.

Николай Николаевский. «Обернуться на взгляд». Книга эта, как бы лучше сказать,

крепкая. Профессиональная, если угодно. Впрочем, а какой еще должна быть вторая книга?.. Можно отметить, в первую очередь, свободу в обращении с материалом, т. е. с языком. В стихотворении, где речь идет о Кушнере, появляются иронически обыгранные кушнеровские интонации, в стихах на исторические, так сказать, темы возникают интонации ложноклассические. А то и просто удивит чем-нибудь вроде: «Сад, на вздохе кренившийся набок». Но вообще-то в его стихах нет внешнего блеска и лоска, они не предназначены поражать с первого взгляда. Некоторая повествовательность мешает, мне кажется, этим стихам, но вот в стихотворении «Последний из Ванден» эта самая повествовательная инерция логично и последовательно разворачивает неторопливый белый стих, выводя его на очень серьезные размышления об истории, вере, прогрессе. Из стихов более легкомысленных, что ли, хотел бы отметить «Написать бы книгу «Домоводство»...» и совершенно прелестную вещицу «Кота называл я «Гугенот»... Здесь автор улыбается так лукаво и простоудушно, что забываешь и запахи крови и слез на ристалище духа», и вечные вопросы, и поиски гармонии:

*И разве можно мрачно, скучно
Глядеть на пыльные кусты,
Когда к тебе неравнодушны
Цветы, деревья и коты!*

Думаю, что все перечисленные субъекты будут и дальше неравнодушны к поэту и вскорости и тени скуки и мрачности не останутся в его стихах.

«Тело судьбы» — третья книга Александра Ибрагимова. В первую голову надо отметить, что книга очень хорошо издана: оформление, обложка, иллюстрации. Тщательно продумана композиция книги. Разный шрифт. Восьмистишия сгруппированы по тематике в нескольких разделах, перемежая собой разделы ретроспективные. Думаю, взвешенность и композиционная выстроенность книги многим обязана редактору.

Сразу оговорюсь — мне больше по душе те стихи, которые набраны в книге курсивом. Столько замечательных стихов — просто праздник какой-то. Я думаю, талант и оригинальность дарования А. Ибрагимова вне подозрений, и не требуется приводить здесь доказательства. Гораздо прохладнее мое отношение к его восьмистишиям. Я попробую объяснить, но это область бездоказательных и зыбких умозаключений. Во-первых, мне кажется, что А. Ибрагимов — лирик от рождения, и попытки хоть бытописательства, хоть историософии у него не столь удачны. Я умом понимаю, что все это мастерски написано, но не хватает одной крупинки соли, чтоб началась кристаллизация. Во-вторых, думаю, что стремление к неслыханной простоте многих миниатюр — это своеобразный комплекс кающегося авангардиста. Как ни странно, многое идет именно от ума, а не от души, слишком рационально, что ли. Автор, кажется, сознательно поставил цель — добиться безыскусности, и вот добивается

ее любой ценой. В-третьих, мне кажется уязвимой сама цель — создать всеобъемлющую картину мира, поэтический космос из осколков, миниатюр, как бы по мозаичному принципу. Вряд ли, конечно, сегодня возможна «Божественная комедия», но и лоскутное одеяло шить — тоже не выход.

Я не пытаюсь умалить значение этой книги, которая, бесспорно, стала явлением. Я не претендую на объективность, что, впрочем, относится и ко всему обзору. Да и нужно ли стремиться к объективности? Да и можно ли? Для нее необходимы несколько точек зрения, а я обладаю одной-единственной, и тут ничего не поделаешь. Я не пытался определить, что есть поэзия, что не есть поэзия, не собирался составлять табель о рангах кузбасских поэтов. Есть только один способ определить уровень поэзии — сосчитать число мурашек, бегущих по спине... И пусть же они бегают целыми стаями и табунами в эти глухие для поэзии времена, которые становятся еще глуше.

ВЛАДИМИР ЛЕНИН В ОЦЕНКАХ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА И МАКСИМА ГОРЬКОГО

Николай Бердяев

ЛЕНИН КАК МЫСЛИТЕЛЬ

В его характерном, выразительном лице было что-то русско-монгольское. В характере Ленина были типически русские черты, и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и риторике, пракτικότητα мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе... В нем черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство. Он соединял в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, Петра Великого и русских государственных деятелей деспотического типа.

В этом оригинальность его философии. Ленин был революционер-максималист и государственный человек. Он соединял в себе предельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного мирозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике. Только такие люди успевают и побеждают. Он соединял в себе простоту, прямоту и нигилистический аскетизм с хитростью, почти с жсварством...

У него выработалось циническо-равнодушное отношение к людям. Он не верил в человека, но хотел так организовать жизнь, чтобы людям было легче жить, чтобы не было эксплуатации человека человеком. В философии, в искусстве, в духовной культуре

Ленин был отсталый и элементарный человек, у него были вкусы и симпатии людей 60-х и 70-х годов прошлого века. Он соединял социальную революционность с духовной реакционностью...

Все мирозерцание Ленина было приспособлено к технике революционной борьбы. Он один, заранее, задолго до революции думал о том, что будет, когда власть будет завоевана, как организовать власть. Ленин — империалист, а не анархист. Все мышление его было империалистическим, деспотическим. С этим связана прямолинейность, узость его мирозерцания, сосредоточенность на одном, бедность и аскетичность мысли, элементарность лозунгов, обращенных к воле. Тип культуры Ленина был невысокий, многое ему было недоступно и неизвестно. Всякая рафинированность мысли и духовной жизни его отталкивала. Он много читал, много учился, но у него не было обширных знаний, не было большой умственной культуры. Он приобретал знания для определенной цели, для борьбы и действия... Но у него не было философской культуры, меньше, чем у Плеханова. Он всю жизнь боролся за целостное, тоталитарное мирозерцание, которое необходимо было для борьбы... И он допускал все средства для борьбы, для достижения целей революции. Добро было для него все, что служит революции, зло — все, что ей мешает. Революционность Ленина имела моральный ис-

точник, он не мог вынести несправедливость угнетения, эксплуатации. Но, став одержимым максималистической революционной идеей, он в конце концов потерял непосредственное различие между злом и добром, потерял непосредственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, жестокость. Ленин не был дурным человеком, в нем было и много хорошего. Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный идее, он даже не был особенно честолюбивым и властолюбивым человеком, он мало думал о себе. Но исключительная одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе...

Для Ленина марксизм есть прежде всего учение о диктатуре пролетариата. Большевики же считали невозможной диктатуру пролетариата в сельскохозяйственной, крестьянской стране. Ленин не демократ, он утверждает не принцип большинства, а принцип подогнанного меньшинства...

И Россия, действительно, была организована по образцу организации большевистской партии. Вся Россия, весь русский народ оказался подчиненным не только диктатуре коммунистической партии, ее центральному органу, но и доктрине коммунистического диктатора в своей мысли и в своей совести. Ленин отрицал свободу внутри партии, и это отрицание свободы было перенесено на всю Россию...

Ленин — антигуманист, как и антидемократ. В этом он человек новой эпохи, эпохи не только коммунистических, но и фашистских переворотов. Ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью. Этому будут подражать Муссолини и Гитлер. Сталин будет законченным типом вождя-диктатора. Ленинизм не есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже очень походит на фашизм...

Вопреки доктринерскому пониманию марксизма, Ленин утверждал явный примат политики над экономикой. Проблема сильной власти для него была основная. Ленин видел в политической и экономической отсталости

России преимущество для осуществления социальной революции. В стране самодержавной монархии, не привыкшей к правам и свободам гражданина, легче осуществить диктатуру пролетариата... он утверждал, что революция произойдет в России оригинально, не по-западному, т.е. в сущности, не по Марксу, не по доктринерскому пониманию Маркса. Но все должно произойти во имя Маркса... Он утверждал не диктатуру эмпирического пролетариата, который в России был очень слаб, а диктатуру ИДЕИ ПРОЛЕТАРИАТА, которой может быть проникнуто незначительное меньшинство...

Как и почему прекратится то насилие и принуждение, то отсутствие всякой свободы, которое характеризует переходный к коммунизму период, период пролетарской диктатуры? Ответ Ленина очень простой, слишком простой. Сначала нужно пройти через мушкетерскую, через железную диктатуру сверху... Потом, говорит Ленин, люди ПРИВЫКНУТ соблюдать элементарные условия общности... В этом был утопизм Ленина, но утопизм реализуемый и реализованный. Он не предвидел, что классовое угнетение может принять совершенно новые формы, не похожие на капиталистические. Диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватывающую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия царская, есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Это и происходит... Советская Россия есть страна государственного капитализма, который может эксплуатировать не менее частного капиталиста. Переходный период может затянуться до бесконечности... Все это было вне кругозора Ленина. Тут он особенно утопичен, очень наивен. Советское государство стало таким же, как всякое деспотическое государство, оно действует теми же средствами: ложью и насилием. Это прежде всего государство военно-полицейское... Коммунистическая революция была оригинально русской, но чуда рождения новой жизни не произошло...

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

* * *

Министры-социалисты, выпущенные из Петропавловской крепости Лениным и Троцким, разъехались по домам, оставив своих товарищей М. В. Бернацкого, А. И. Коновалова, М. И. Терещенко и других во власти людей, не имеющих никакого представления о свободе личности, о правах человека.

Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия.

Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся, якобы по пути «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции.

На этом пути Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления вроде бойни под Петербургом, разгрома Москвы, уничтожения свободы слова, бессмысленных арестов — все мерзости, которые делали Плеве и Столыпин.

Конечно — Столыпин и Плеве шли против демократии, против всего живого и честного в России, а за Лениным идет довольно значительная — пока — часть рабочих, но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроют пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия и его Нечаевско-Бакунинский анархизм.

Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть — что из этого выйдет?

Конечно, он не верит в возможность победы пролетариата в России при данных ус-

ловиях, но, может быть, он надеется на чудо.

Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция.

Вот куда ведет пролетариат его сегодняшней вождей, и надо понять, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата.

Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат.

Я спрашиваю:

Помнит ли русская демократия — за торжество каких идей она боролась с деспотизмом монархии?

Считает ли она себя способной и ныне продолжать эту борьбу?

Помнит ли она, что когда жандармы Романовых бросали в тюрьмы и в каторгу ее идейных вождей — она называла этот прием борьбы подлым?

Чем отличается отношение Ленина к свободе слова от такого же отношения Столыпиных, Плеве и прочих полулюдей?

Не так же ли Ленинская власть хватает и тащит в тюрьму всех несогласномыслящих, как это делала власть Романовых?

Почему Бернацкий, Коновалов и другие члены коалиционного правительства сидят в крепости, — разве они в чем-то преступнее своих товарищей-социалистов, освобожденных Лениным?

Единственным честным ответом на эти вопросы должно быть немедленное требование освободить министров и других безвинно арес-

тованных, а также восстановить свободу слова во всей ее полноте.

Затем разумные элементы демократии дол-

жны сделать дальнейшие выводы,—должны решить, по пути ли им с заговорщиками и анархистами Нечаевского типа.

«Новая жизнь», № 174,
7 (20) ноября 1917 г.

* * *

Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева — «на всех парах через болото».

И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к гибели в трясине действительности, очевидно, убеждены вместе с Нечаевым, что «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно», и вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые боины, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей, вроде А. В. Карташева, М. В. Бернацкого, А. И. Коновалова и других.

Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина—Троцкого, эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны.

«Послушание школьников и дурачков», идущих вместе за Лениным и Троцким, «достигло высшей черты», — ругая своих вождей заглазно, то уходя от них, то снова присоединяясь к ним, школьники и дурачки, в конце концов, покорно служат воле догматиков и все более возбуждают в наиболее темной массе солдат и рабочих несбыточные надежды на беспечальное житье.

Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России — русский народ заплатит за это озерами крови.

Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одною из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-

демократии; человек талантливый, он обладает всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс.

Ленин — «вождь» и русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу.

Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за этот опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его.

Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников — его рабов. Жизнь, во всей ее сложности, неведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он — по книжкам — узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем — всего легче — разъярить ее инстинкты. Рабочий класс для Лениных то же, что для металлиста руда. Возможно ли — при всех данных условиях — отлить из этой руды социалистическое государство? По-видимому — невозможно; однако — отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удастся?

Он работает как химик в лаборатории, с тою разницей, что химик пользуется мертвой материей, но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым материалом и ведет к гибели революцию. Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное развитие русской революции.

«Новая жизнь», № 177,
10 (23) ноября 1917 г.

В «Правде» напечатано:

«Порький заговорил языком врагов рабочего класса».

Это — неправда. Обращаясь к наиболее сознательным представителям рабочего класса, я говорю:

Фанатики и легкомысленные фантазеры, возбуждая в рабочей массе надежды, неосуществимые при данных исторических условиях, увлекают русский пролетариат к разгрому и гибели, а разгром пролетариата вызовет в России длительную и мрачнейшую реакцию.

Далее в «Правде» напечатано:

«Всякая революция в процессе своего поступательного развития, неизбежно включает и ряд отрицательных явлений, которые неизбежно связаны с ломкой старого, тысячелетнего государственного уклада. Молодой богатырь, строя новую жизнь, задевает своими мускулистыми руками чужое ветхое благополучие, и мещане, как раз те, о которых писал Горький, начинают вопить о гибели Русского государства и культуры».

Я не могу считать «неизбежными» такие факты, как расхищение национального имущества в Зимнем, Гатчинском и других дворцах. Я не понимаю, — какую связь с «ломкой тысячелетнего государственного уклада» имеет разгром Малого театра в Москве и воровство в уборной знаменитой артистки нашей, М. Н. Ермоловой?

Не желая перечислять известные акты бессмысленных погромов и грабежей, я утверждаю, что ответственность за этот позор, творимый хулиганами, падает и на пролетариат, очевидно, бессильный истребить хулиганство в своей среде.

Далее: «молодой богатырь, строя новую жизнь», делает все более невозможным книгопечатание, ибо есть типографии, где наборщики вырабатывают только 38% детской нормы, установленной союзом печатников.

Пролетариат, являясь количественно слабым среди стомиллионного деревенско-

го полуграмотного населения России, должен понимать, как важно для него возможное удешевление книги и расширение книгопечатания. Он этого не понимает, на свою беду.

Он должен также понимать, что сидит на штыках, а это — как известно — не очень прочный трон.

И вообще — «отрицательных явлений» много, а где же положительные? Они незаметны, если не считать «декретов» Ленина и Троцкого, но я сомневаюсь, чтоб пролетариат принимал сознательное участие в творчестве этих «декретов». Нет, если бы пролетариат вполне сознательно относился к этому бумажному творчеству, — оно было бы невозможным, в том виде, в каком дано.

Статья в «Правде» заключается нижеследующим лирическим вопросом:

«Когда на светлом празднике народов в одном братском порыве сольются прежние невольные враги, на этом пиршестве мира будет ли желанным гостем Горький, так поспешно ушедший из рядов подлинной революционной демократии?»

Разумеется, ни автор статьи, ни я не доживем до «светлого праздника» — далеко до него, пройдут десятилетия упорной, будничной, культурной работы для создания этого праздника.

А на празднике, где будет торжествовать свою легкую победу деспотизм полуграмотной массы и, как раньше, как всегда — личность человека останется угнетенной, мне на этом «празднике» делать нечего и для меня это — не праздник.

В чьих бы руках ни была власть, за мною остается человеческое право отнестись к ней критически.

И я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти: недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего.

Содержание альманаха за 1991 год

Любовь Никонova. Хождение по святым местам. № 2.

ПРОЗА

Константин Акатнов. Этапный день. Повесть. № 4.

Борис Антонов. Каин с револьвером. № 1.

И. А. Бунин. Окаянные дни. № 2.

Яан Иенсен. Прыжок смерти. Детективный рассказ. № 4.

А. Казаркин. «Теперь ты мысль. Ты вечен». № 2.

Илья Картель. Автограф. Документальный рассказ. № 1.

Сергей Ковякин. Мастер. Фантастическая повесть. № 3.

Николай Клюев. Сны обреченного. (Вступительная статья А. Казаркина). № 4.

Евгений Конюшенко. Рай и Вавилон Ивана Бунина. № 2.

Александр Король. День гиперантропа. Фантастический рассказ. № 3.

Юлия Лавряшина. Размышления у черной стены. Повесть. № 1.

Два рассказа: Зрители уходят. Первая роль. № 3.

С. П. Мельгунов. Красный террор в России. № 2.

Галина Милованова. Римка-матушка. Рассказ. № 1.

Гарий Немченко. Короли цепей. Рассказ. № 1.

Виль Рудин. Три года дьявольщины. № 2.

Юджин Савченко. Любовь к трем апельсинам. Остерегайтесь трюфелевого короля. № 3.

Любовь Скорик. Новеллы. № 2.

Борис Соколов. Американец и реальный социализм. Счастливые любовники. Тихоокеанский секс. № 4.

ПОЭЗИЯ

Борис Бурмистров. «Все больше зимние пейзажи...» № 1.

Леонид Гержидович. «Впитали листья стронций...» Возвращение. № 1. Ты прости меня, мать-береза. № 3.

Александр Глазырин. «Одну надежду берегу...» «Повелела мне пожарница...» «Ходим парком навстречу друг другу...» Монолог божья. Письмо Ординарцева своей подружке. № 2.

Владимир Иванов. «Еще скользят по снегу лыжи...» «Еще утрами сыплет иней споро...» № 1.

Визит. № 4.

Валерий Ковшов. «Дрогнул Блок, заметался Есенин...» «Когда в душе глубокий беспорядок...» «И человек...» «Зло постигнет наказание...» «Мы ценим вино золотое...» «Раздвоен мозг...» № 3.

Николай Колмогоров. «Из разного вчера ничего не взять...» «Не спится чудачу...» «Тяжелые сдвинулись тучи...» «Не пойте отвращения к жизни...» В степи. «Даже бедное Черное море...» «Доступное сегодня и сейчас...» «Жизнь — это медленное скуденье...» № 4.

Геннадий Кузнецов. Отец. № 4.

Иосиф Куралов. Заметки отрицательного героя. № 2.

Надежда Ма Динь. Дом. «И только сегодня мне — воздух...» «Вот и мой колокольчик звенит под дугой...» № 2.

Павел Майский. Путешествие из Кузнецка в Екатеринодар в лето 1989 года. «Был майский день...» «Что ж вы, деды, натворили...» № 4.

Николай Николаевский. Облако. № 1.

Любовь Никонova. Томление духа. № 3.

Сергей Подгорнов. «Лето теплокожею листой...» «Я вырос здесь...» «Отпустил бы я душу на волю...» Ворон. Одиночество.

Иван Полунин. Дым отчества. «По утрам брожу над Обью...» В минуты сомнений. Памяти Александра Кухно. «Обилен красками закат...» № 3.

Тамара Рубцова. «Былинка вздрогнет на ветру...» Русь. «Из сибирских родом мест...» № 2.

Сергей Самойленко. Угол зрения. № 3.

Тамара Страхова. «Жить в России и битым не быть...» «Сорвавшийся крик...» «Живем от взрыва и до взрыва...» № 2.

Светлана Трущева. Озеленение города. «Вошла в числе паломников во храм...» Сад на асфальте. «Вот стул...» № 1.

Александр Фомин. Юродивый. В шахте. № 1.

Евгений Харламов. Дочь. № 1.

ПАМЯТЬ СИБИРИ

Василий Дятлов. Сибирский старый тракт. № 1.

Геннадий Емельянов. Надежда умирает последней. № 1.

Михаил Небогатов. «Незаметно дни идут за днями...» Заметки из дневников. № 1.

СЛОВО — КРИТИКЕ

Алексей Горшенин. «Притомские» смотрины. № 1.

Сергей Самойленко. О горькой соли стихов, о поэтических мурашках и многом другом. № 4.

НАШИ ПЕРЕВОДЫ

Грэм Грин. Эротические фильмы. № 3.

Дейл Карнеги. Улучшайте свой слог. № 3.

НАШИ РАЗЫСКАНИЯ

Г. Абольянин. Поэт серебряного века. № 3.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Олег Павловский. Горби, цветной карандаш и шахер-махер. № 3.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил Анохин. Забастовка. Технология надувательства. № 4.

Мэри Кушникова. Со временем вперегонки балуясь... № 3.

ИЗ СПЕЦХРАНОВ

Половая жизнь в тюрьме. № 3.

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Владимир Ленин в оценках Николая Бердяева и Максима Горького. № 4.

ПОЛЮСА СМЕХА

Виктор Баянов. Сенокосною порой. Пародия. № 2.

Дмитрий Рябов. Сценарий короткометражного фильма о гражданской войне. «Первая конная...» № 1.

Владимир Ширяев. Зло и добро. «Не ходи босиком...» «Что жена — в наркологии...» Мыслящий камень. Прощание с эзоповым языком. № 2.

СТИХИ — ДЕТЯМ

Евгения Леволь. Шутка. Куропатки. Тень. Музыкальный пес Трезор. № 1.



Художник ДЖЕК ГЮНТЕР, «В аэропорту».

